Саламбо (сборник)

Автор:
Гюстав Флобер

Саламбо (сборник)

Гюстав Флобер

Серия исторических романов

Третий век до Рождества Христова. Разоренный едва отгремевшей войной с Римской республикой Карфаген не смог заплатить жалованье наемным воинам и попытался успокоить их, устроив обильный пир. Там, на пиру, и появилась нежданно прекрасная Саламбо, дочь знаменитого карфагенского полководца Гамилькара. Там и покорила она сердце могучего ливийца Мато.

Совет Карфагена обманом увел наемников из города, но вскоре разозленные варвары вернулись и осадили его. Вождь восставших солдат, неустрашимый Мато, готов был сжечь ненавистный город, но… любовь к Саламбо оказалась сильнее долга перед собратьями по оружию. Мато вернул девушке украденное им из храма богини Танит священное покрывало, и с этой минуты восставшие были обречены.

Гюстав Флобер

Саламбо

Сборник

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2016

Об авторе

Классик французской литературы Гюстав Флобер родился 12 декабря 1821 года в Руане, в семье хирурга Ашиля-Клеофаса Флобера и Анн-Жюстин-Каролины Флобер (в девичестве Флерио). Детство будущего писателя было безрадостным; оно прошло в закоулках городской больницы, при которой жила семья его отца.

Без особого блеска Гюстав окончил королевский коллеж, потом лицей. Единственным достойным упоминания событием его юности была встреча в 1836 году с Элизой Фуко, ставшей впоследствии женой музыкального издателя Мориса Шлезингера. Это знакомство оставило глубокий след в душе юноши и повлияло на создание одного из лучших романов писателя – «Воспитание чувств».

В 1840 году молодой Гюстав поступает на юридический факультет Парижского университета, но больше времени проводит в обществе друзей – художников и литераторов. В 1844 году, пережив первый приступ эпилепсии, Гюстав оставляет учебу, возвращается в Руан, где пишет несколько рассказов и создает первую версию романа «Воспитание чувств». Начинающий автор критически относится к французским революционным событиям 1848 года, которые привели к провозглашению Второй республики. На следующий год он уезжает на Ближний Восток, где проводит три года, посетив Египет, Иерусалим, Константинополь, а на обратном пути – Италию. По возвращении Флобер начинает работу над романом «Мадам Бовари», принесшим ему настоящую литературную славу. Писателя с восторгом принимают в парижских салонах.

В 1857 году Флобер начинает работу над историческим романом «Саламбо», рассказывающем о восстании наемников в Карфагене в III в. до н. э. Собирая материал, писатель совершает короткое путешествие по Тунису. Кропотливая работа над книгой затянулась вплоть до 1862 года. В 1866 году писателя награждают орденом Почетного легиона. В 1869 году Флобер становится любовником матери Ги де Мопассана, литературному становлению которого он впоследствии способствовал. В ноябре того же года выходит из печати окончательная редакция «Воспитания чувств», в которой писатель заново переосмысливает события революционного 1848 года. Критика плохо встретила роман, в результате чего было продано всего несколько сот экземпляров книги.

Во время начавшейся войны с Пруссией Флобер вместе с матерью оказывается в оккупированной немцами Нормандии. В 1872 году она умирает. Флобер испытывает финансовые трудности: он вынужден продать свои фермы и в целях экономии покидает Париж. К тому же Гюстава все больше беспокоит здоровье. В марте 1874 года терпит неудачу постановка его пьесы «Кандидат», и в том же году писатель заканчивает окончательную редакцию своей поэмы в прозе «Искушение святого Антония».

С 1872 года Флобер работал над сатирическим романом «Бувар и Пекюше», который остался неоконченным по причине неожиданной смерти автора от кровоизлияния в мозг 8 мая 1880 года. Похороны писателя состоялись в Руане 11 мая в присутствии многочисленных друзей, среди которых были такие знаменитости, как Эмиль Золя, Альфонс Доде, Эдмон де Гонкур, Ги де Мопассан. Неоконченный роман вышел из печати в 1881 году. В мировой литературе Флобер занимает почетное место: он до сих пор считается лучшим французским стилистом и одним из тончайших психологов.

Избранные произведения Г. Флобера:

«Мадам Бовари» (Madame Bovary, 1857)

«Саламбо» (Salammbo,1862)

«Воспитание чувств» (L'Education sentimentale, 1869)

«Искушение святого Антония» (La Tentation de saint Antoine, 1874)

«Три повести: Простое сердце, Легенда о св. Юлиане Милостивом, Иродиада» (Trois Contes: Un cCur simple, La Legende de saint Julien l'Hospitalier, Herodias, 1877)

«Бувар и Пекюше» (Bouvard et Pecuchet, 1881)

Саламбо

I. Пир

Это было в Мегаре, предместье Карфагена, в садах Гамилькара.

Воины, которыми он предводительствовал в Сицилии, устроили большое пиршество, чтобы отпраздновать годовщину Эрикской битвы, и так как хозяин отсутствовал, а их было много, они ели и пили без всякого стеснения.

Начальники, обутые в бронзовые котурны, поместились в среднем проходе под пурпуровым навесом с золотой бахромой, который тянулся от стены конюшен до первой террасы дворца. Простые ратники расположились под деревьями; оттуда видно было множество строений с плоскими крышами – давильни, погреба, амбары, хлебопекарни, арсеналы, а также двор для слонов, рвы для диких зверей и тюрьма для рабов.

Фиговые деревья окружали кухни; лес смоковниц доходил до зеленых кущ, где меж белых хлопчатников рдели гранаты; отягченные гроздьями виноградные лозы поднимались к ветвям сосен; под платанами цвело поле роз; на лужайках покачивались лилии; дорожки были посыпаны черным песком с примесью кораллового порошка, а посредине шла аллея кипарисов, как двойная колоннада зеленых обелисков.

Дворец Гамилькара, построенный из нумидийского мрамора с желтыми крапинками, громоздился в отдалении на широком фундаменте; четыре этажа его выступали террасами один над другим. Монументальная прямая лестница из черного дерева, на каждой ступеньке которой стояли сбоку носовые части захваченных вражеских галер, красные двери, помеченные черным крестом, медные решетки, служившие защитой от скорпионов, легкие золотые переплеты в верхних окнах – все это придавало дворцу суровую пышность, и он казался солдатам столь же торжественным и непроницаемым, как лицо Гамилькара.

Совет предоставил им этот дворец для пира. Выздоравливавшие воины, которые ночевали в храме Эшмуна, вышли оттуда на заре, плетясь на своих костылях. Толпа росла с каждым мгновеньем. Люди беспрерывно стекались ко дворцу по всем дорожкам, точно потоки, устремляющиеся в озеро. Между деревьями сновали кухонные рабы, испуганные, полунагие; газели на лугах убегали с

громким блеянием. Солнце близилось к закату, и от запаха лимонных деревьев зловоние потной толпы казалось еще более тягостным.

Тут были люди разных наций – лигуры, лузитанцы, балеары, негры и беглецы из Рима. Слышался то тяжелый дорийский говор, то кельтские слова, грохотавшие, как боевые колесницы, ионийские окончания сталкивались с согласными пустыни, резкими, точно крики шакала. Грека можно было отличить по тонкому стану, египтянина – по высоким сутулым плечам, кантабра – по толстым икрам. На шлемах у карийцев горделиво покачивались перья; каппадокийские стрелки расписали свое тело большими цветами; несколько лидийцев с серьгами в ушах сели за трапезу в женских одеждах и туфлях. Иные намазались для праздника киноварью и походили на коралловые статуи.

Они разлеглись на подушках, ели, сидя на корточках вокруг больших блюд, или же, лежа на животе, хватали куски мяса и насыщались в мирной позе львов, разрывающих добычу. Прибывшие позже других стояли, прислонившись к деревьям, смотрели на низкие столы, наполовину скрытые пунцовыми скатертями, и ждали своей очереди.

Совет послал рабов, посуду, ложа для пирующих; так как кухонь Гамилькара не хватало, среди сада, как на поле битвы, когда сжигают мертвецов, горели яркие костры, и на них жарили быков. Хлебы, посыпанные анисом, высились вперемежку с огромными сырами, тяжелее дисков. Около золотых плетеных корзин с цветами стояли чаши с вином и сосуды с водой. Гости широко улыбались от радости, что наконец могут наесться досыта. Слышалось пение.

Прежде всего им подали на красных глиняных тарелках с черными узорами дичь под зеленым соусом, потом всякие ракушки, какие собирают на карфагенских берегах, похлебки из пшеницы, ячменя, бобов и улитки с тмином, налитые в желтые янтарные блюда.

Вслед за тем столы уставили мясными блюдами. Подали антилоп с рогами, павлинов в перьях, целых баранов, сваренных в сладком вине, верблюжьи и буйволовые окорока, ежей, с приправой из рыбьих внутренностей, жареную саранчу и сонь в маринаде. В деревянных чашках из Тамрапании плавали в шафране большие куски жира. Все было залито рассолом, приправлено трюфелями и асафетидой. Уложенные пирамидами плоды, рассыпаясь, падали на медовые пряники. Было, конечно, и жаркое из маленьких собачек с толстыми животами и розовой шерстью, которых откармливали выжимками из маслин, –

карфагенское блюдо, вызывавшее отвращение у других народов. Неожиданность новых яств возбуждала жадность пирующих. Галлы с длинными волосами, собранными на макушке кверху, вырывали друг у друга арбузы и лимоны и съедали их с коркой. Негры, никогда не видавшие лангуст, раздирали себе лица об их красные колючки. Бритые греки, у которых лица были белее мрамора, бросали за спину остатки со своих тарелок, а пастухи из Бруттиа, одетые в волчьи шкуры, ели молча, уткнувшись в тарелки.

Наступила ночь. Сняли велариум, протянутый над аллеей из кипарисов, и принесли факелы.

Дрожащее пламя нефти, горевшей в порфировых вазах, испугало на вершинах кипарисов обезьян, посвященных Луне. Их резкие крики смешили солдат.

Продолговатые отсветы пламени дрожали на медных панцирях. Блюда с инкрустацией из драгоценных камней сверкали разноцветными огнями. Чаши с краями из выпуклых зеркал умножали увеличенные отражения предметов. Толпясь вокруг них, воины изумленно гляделись в зеркала и гримасничали, чтобы посмеяться. Они бросали друг в друга через столы табуреты из слоновой кости и золотые лопатки. Они пили вволю греческие вина, которые хранятся в бурдюках, вина Кампании, заключенные в амфоры, кантабрийское вино, которое привозят в бочках, и вина из ююбы, киннамона и лотоса. На земле образовались скользкие винные лужи, пар от мяса поднимался к листве деревьев вместе с дыханием пирующих. Слышны были громкое чавканье, шум речей, песни, звон чаш, грохот кампанских ваз, которые, падая, разбивались на тысячи кусков, и чистый звук больших серебряных блюд.

По мере того как воины пьянели, они все больше думали о несправедливости к ним Карфагена. Республика, истощенная войной, допустила скопление в городе отрядов, возвращавшихся из похода. Гискон, начальник наемных войск, умышленно отправлял их частями, чтобы облегчить выплату им денег, но Совет полагал, что они в конце концов согласятся на уменьшение жалования. Теперь же наемников возненавидели за то, что им нечем было уплатить. Этот долг смешивался в представлении народа с тремя тысячами двумястами эвбейских талантов, которые требовал Лутаций, и в глазах Карфагена наемники стали такими же врагами, как и римляне. Воины это понимали, и возмущение их выражалось в угрозах и гневных выходках. Они, наконец, потребовали разрешения собраться, чтобы отпраздновать одну из своих побед, и партия мира уступила им, мстя этим Гамилькару, который упорно стоял за войну. Теперь

война кончилась, вопреки его воле, и он, разочаровавшись в Карфагене, передал командование над наемниками Гискону. Дворец Гамилькара отвели для приема солдат, чтобы направить на него часть той ненависти, которую те испытывали к Карфагену. К тому же устройство пиршества влекло за собой огромные расходы, и все они падали на Гамилькара.

Гордясь тем, что они подчинили своей воле Республику, наемники рассчитывали, что смогут наконец вернуться в свою страну, увозя в капюшонах плащей плату за пролитую ими кровь. Но под влиянием винных паров их заслуги стали казаться им безмерными и недостаточно вознагражденными. Они показывали друг другу свои раны, рассказывали о сражениях, о странствиях и об охоте у себя на родине. Они подражали крикам диких зверей, их прыжкам. Потом начались отвратительные пари: погружали голову в амфоры и пили без перерыва, как изнывающие от жажды дромадеры. Один лузитанец огромного роста держал на вытянутых руках по человеку и обходил так столы, извергая из ноздрей горячее дыхание. Лакедемоняне, не снявшие лат, тяжело прыгали. Одни подражали женской походке и делали непристойные жесты, другие обнажались, чтобы состязаться среди чаш, как гладиаторы; греки плясали вокруг вазы с изображением нимф, в то время как один из негров ударял бычьей костью по медному щиту.

Вдруг воины услышали жалобное пение, громкое и нежное; оно то стихало, то усиливалось, как хлопанье крыльев раненой птицы.

Это были голоса рабов в эргастуле. Солдаты вскочили и бросились освобождать заключенных.

Они вернулись, с криком гоня перед собой около двадцати человек, окутанных пылью и выделявшихся бледностью лиц. На бритых головах у них были остроконечные шапочки из черного войлока; все были обуты в деревянные сандалии; они громыхали цепями, как колесницы на ходу.

Рабы прошли до кипарисовой аллеи и рассеялись в толпе; их стали расспрашивать. Один из них остановился поодаль. Сквозь разорванную тунику видны были его плечи с длинными рубцами. Ослепленный факелами, опустив голову, он боязливо озирался и щурился. Когда он увидел, что никто из этих вооруженных людей не выказывает к нему ненависти, из груди его вырвался глубокий вздох; он стал что-то бормотать и засмеялся сквозь радостные слезы, которые текли у него по лицу; потом схватил за ручки полную чашу и поднял ее,

вытянув руки, с которых свисали цепи; глядя на небо и продолжая держать чашу, он произнес:

– Привет прежде всего тебе, освободитель Ваал-Эшмун, которого на моей родине зовут Эскулапом! Привет вам, духи источников, света и лесов! И вам, боги, сокрытые в недрах гор и в земляных пещерах! И вам, мощные воины в блестящих доспехах, освободившие меня!

Потом он бросил чашу и стал рассказывать о себе. Его звали Спендием. Карфагеняне захватили его в плен во время Эгинусской битвы. Изъясняясь на греческом, лигурийском и пуническом языках, он принялся снова благодарить наемников, целовал им руки и, наконец, поздравил с празднеством, выражая при этом удивление, что не видит чаш Священного легиона. Чаши эти, с изумрудной виноградной лозой на каждой из шести золотых граней, принадлежали гвардии, состоящей исключительно из молодых патрициев самого высокого роста, и обладание ими было привилегией, почти жреческой почестью; ничто среди сокровищ Республики так не возбуждало алчности наемников, как эти чаши. Из-за них они ненавидели Легион; иные рисковали жизнью ради неизъяснимого наслаждения выпить из такой чаши.

Они тотчас послали за чашами, хранившимися у Сисситов – купцов, объединенных в общества, которые собирались для совместных трапез. Рабы вернулись ни с чем: в этот час все члены сисситских обществ уже спали.

– Разбудить их! – приказали наемники.

Вторично посланные рабы вернулись с ответом, что чаши заперты в одном из храмов.

– Отпереть храм! – ответили они.

И когда рабы, трепеща, признались, что чаши в руках начальника Легиона, Гискона, они воскликнули:

– Пусть принесет!

Вскоре в глубине сада появился Гискон с охраной из воинов Священного легиона. Широкий черный плащ, прикрепленный на голове к золотой митре, усеянной драгоценными камнями, окутывал его всего, спускаясь до подков коня, и сливался издали с ночным мраком. Видны были только его белая борода, сверкание головного убора и тройная цепь из широких синих пластин, которая подпрыгивала у него на груди.

Когда он приблизился, солдаты встретили его криками:

– Чаши, чаши!

Он начал с заявления, что своей храбростью они, несомненно, их заслужили. Толпа заревела от радости, рукоплеща ему.

Он прибавил, что ему это хорошо известно, так как он командовал ими в походе и вернулся с последней когортой на последней галере!

– Верно, верно! – подтвердили они.

Республика, продолжал Гискон, блюдет их разделение по племенам, их обычаи, их верования; они пользуются в Карфагене свободой. Что же касается чаш Священного легиона, то это частная собственность.

Тогда один из галлов, стоявший около Спендия, перепрыгнул неожиданно через столы и подбежал к Гискону, грозя ему двумя обнаженными мечами.

Гискон, не прерывая своей речи, ударил его по голове тяжелой палкой из слоновой кости. Варвар упал. Галлы зарычали, и бешенство их, сообщаясь другим, вызвало гнев легионеров. Гискон пожал плечами. Отвага его была бы бесполезна в схватке с этими разъяренными, грубыми животными. Позже он отомстит им какой-нибудь хитростью. Он сделал поэтому знак своим воинам и медленно удалился. Дойдя до ворот, он обернулся к наемникам и крикнул им, что они раскаются.

Пир возобновился. Но ведь Гискон мог вернуться и, обойдя предместье, доходившее до последних укреплений, раздавить наемников, прижать их к стенам. Они почувствовали себя одинокими, несмотря на то, что их было много.

Большой город, спавший внизу в темноте, испугал их своим нагромождением лестниц, своими высокими черными домами и неясными очертаниями богов, еще более жестоких, чем здешний народ. Вдали над водой скользили сигнальные огни и виден был свет в храме Камона. Они вспомнили про Гамилькара. Где он? Почему он покинул их после заключения мира? Его пререкания с Советом были, наверное, только уловкой, чтобы их погубить. Неутоленная злоба перенеслась на него, и они стали проклинать Гамилькара, возбуждая друг друга своим гневом. В эту минуту под платанами собралась толпа; она окружила негра, который бился в судорогах на земле; взор его был неподвижен, шея вытянута, у рта показалась пена. Кто-то крикнул, что он отравлен. Всем стало казаться, что отравлены и они. Воины бросились на рабов; раздались дикие вопли, и над пьяным войском пронесся вихрь разрушения. Воины разили направо и налево, уничтожали, убивали, одни бросали факелы в листву, другие, облокотившись на перила, за которыми находились львы, поражали их стрелами; более храбрые кинулись к слонам; воинам хотелось отрубить им хоботы и грызть слоновую кость.

Тем временем балеарские пращники обогнули угол дворца, чтобы удобнее было приступить к грабежу. Но им преградила путь высокая изгородь из индийского камыша. Они перерезали кинжалами ремни затвора и очутились перед фасадом дворца, обращенным к Карфагену, в другом саду, с подстриженной растительностью. Полосы белых цветов, следуя одна за другой, описывали на земле, посыпанной голубым песком, длинные кривые, похожие на снопы звезд. От кустов, окутанных мраком, исходило теплое медовое благоухание. Стволы некоторых деревьев были обмазаны киноварью и походили на колонны, залитые кровью. Посреди сада на двенадцати медных подставках стояли стеклянные шары; внутри их мерцал красноватый свет, и они казались гигантскими глазами, в которых еще трепетала жизнь. Воины освещали себе путь факелами, спотыкаясь на глубоко вскопанном спуске.

Они увидели небольшое озеро, разделенное на несколько бассейнов стенками из синих камней. Вода была такая прозрачная, что отражение факелов дрожало на самом дне из белых камешков и золотой пыли. На воде показались пузырьки, сверкнули блестящие чешуйки, толстые рыбы с пастью, украшенной драгоценными камнями, выплыли на поверхность.

Воины схватили рыб, просунули пальцы под жабры и с громким хохотом принесли их на столы.

То были рыбы, принадлежавшие роду Барка. Происходили эти рыбы от первобытных налимов, породивших мистическое яйцо, в котором таилась богиня. Мысль, что они свершают святотатство, вновь разожгла алчность наемников; они быстро развели огонь под медными сосудами и стали с любопытством глядеть, как диковинные рыбы извиваются в кипятке.

Воины теснились, толкая друг друга. Они забыли страх и снова принялись пить. Благовония стекали у них со лба и падали крупными каплями на разодранные туники. Опираясь кулаками на столы, которые, как им казалось, качались подобно кораблям, они осматривались налитыми кровью пьяными глазами и пытались поглотить взорами то, что уже не могли съесть. Другие ходили между блюд по столам, покрытым пурпуровыми скатертями, и давили ногами подставки из слоновой кости и тирские стеклянные сосуды. Песни сливались с хрипеньем рабов, умиравших возле разбитых чаш. Воины требовали вина, мяса, золота, женщин. Они бредили на сотне различных наречий. Иные, видя вокруг себя пар, думали, что они в бане, или же, глядя на листву, воображали себя на охоте и набрасывались на своих собутыльников, как на диких зверей. Пламя переходило с дерева на дерево, охватывало сад, и высокие кроны, откуда вырывались длинные белые спирали, казались задымившим вулканом. Гул усиливался. В темноте выли раненые львы.

Вдруг осветилась самая верхняя терраса дворца; средняя дверь открылась, и на пороге показалась женщина в черных одеждах. Это была дочь Гамилькара. Она спустилась с первой лестницы, которая шла наискось от верхнего этажа, потом со второй и с третьей и остановилась на последней террасе, на верхней площадке лестницы, украшенной галерами. Не двигаясь, опустив голову, смотрела женщина на солдат.

За нею, по обе стороны, стояли двумя длинными рядами бледные люди в белых одеждах с красной бахромой, спадавшей им прямо на ноги. У них не было ни бород, ни волос, ни бровей. Они держали в руках, унизанных сверкающими кольцами, огромные лиры и пели тонкими голосами гимн в честь карфагенской богини. То были евнухи, жрецы храма Танит; Саламбо часто призывала их к себе.

Наконец она спустилась по лестнице с галерами. Жрецы следовали за нею. Она вступила в аллею кипарисов и стала медленно проходить между столами военачальников, которые при виде ее слегка расступались.

Волосы ее, посыпанные фиолетовым порошком, по обычаю дев Ханаана, были уложены наподобие башни, и от этого она казалась выше ростом. Сплетенные нити жемчуга спускались от висков к углам рта, розового, как полуоткрытый плод граната. На груди сверкало множество камней, пестрых, как чешуя мурены. Руки, покрытые алмазами, были обнажены до плеч, туника расшита красными цветами по черному фону; щиколотки соединены золотой цепочкой, чтобы походка была ровнее, и широкий пурпурный плащ, скроенный из неведомой ткани, тянулся следом за ней, мерно колыхаясь при каждом ее шаге.

Время от времени жрецы брали на лирах приглушенные аккорды; в промежутках слышался легкий звон цепочки и мерный стук сандалий из папируса.

Никто еще не знал Саламбо. Известно было только, что она благочестива и живет уединенно. Солдаты видели ее ночью на кровле дворца коленопреклоненной перед звездами, в дыму возженных курильниц. Ее бледность была порождена луной; духовность овевала ее, точно нежной дымкой. Глаза ее казались устремленными далеко за земные пределы. Она шла, опустив голову, и держала в правой руке маленькую лиру из черного дерева.

Воины слышали, как она шептала:

– Погибли! Все погибли! Вы не будете больше подплывать, покорные моему зову, как прежде, когда, сидя на берегу озера, я бросала вам в пасть арбузные семена! Тайна Танит жила в глубине ваших глаз, более прозрачных, чем пузырьки воды на поверхности рек.

Она стала звать их по именам (то были названия месяцев):

– Сив! Сиван! Таммуз! Элул! Тишри! Шебар! О, сжалься надо мною, богиня!

Солдаты, не понимая, что она говорит, толпились вокруг нее. Они восторгались ее нарядом. Она оглядела их долгим испуганным взором, потом, втянув голову в плечи и простирая руки, повторила несколько раз:

– Что вы сделали! Что вы сделали!.. Ведь вам даны были для услады и хлеб, и мясо, и растительное масло, и все пряности со складов! Я посылала за быками в Гекатомпиль, я отправляла охотников в пустыню!

Голос ее становился все громче, щеки зарделись.

Она продолжала:

– Где вы находитесь? В завоеванном городе или во дворце повелителя? И какого повелителя? Суффета Гамилькара, отца моего, служителя Ваалов. Это он отказался выдать Лутецию ваше оружие, обагренное кровью его рабов. Знаете ли вы у себя на родине лучшего полководца, чем он? Взгляните: ступени дворца загромождены нашими трофеями! Продолжайте бесчинствовать! Сожгите дворец! Я увезу с собой духа – покровителя моего дома, черную змею, которая спит наверху, на листьях лотоса. Я свистну, и она за мной последует. Когда я сяду на галеру, змея поплывет за мной в пене вод, по следам корабля.

Тонкие ноздри девушки трепетали. Она судорожно сжимала драгоценные камни у себя на груди. Глаза ее затуманились. Она продолжала:

– О бедный Карфаген! Жалкий город! Нет у тебя прежних могучих защитников, мужей, которые отправлялись за океан строить храмы на дальних берегах. Все страны работали на тебя, и равнины морей, изборожденные твоими веслами, колыхались под грузом твоих жатв.

Затем она стала петь о деяниях Мелькарта, бога си-донского и праотца их рода.

Она рассказала о восхождении на горы эрсифонийские, о путешествии в Тартес и о войне против Мазизабала в отмщение за царицу змей:

– Он преследовал в лесу чудовище с женским телом, с хвостом, извивавшимся по сухой листве, как серебряный ручей. И он дошел до луга, где какие-то существа, полуженщины, полудраконы, сидели вокруг большого костра, опираясь на свои хвосты. Кровавая луна пылала, окруженная бледным сиянием; их красные языки, рассеченные, точно багры рыбаков, вытягивались, извиваясь, до самого пламени.

Потом Саламбо рассказала, как Мелькарт, победив Мазизабала, укрепил на носу своего корабля его отрубленную голову.

При каждом всплеске волн голова исчезала под пеной: солнце опалило ее, и она сделалась тверже золота; она плакала, и слезы непрерывно капали в воду.

Саламбо пела на старом ханаанском наречии, которого варвары не понимали. Они недоумевали, о чем она им рассказывает, сопровождая свои речи грозными жестами. Взгромоздившись вокруг нее на столы, на пиршественные ложа, на ветви сикомор, раскрыв рты и вытянув шеи, они старались угадать смысл странных рассказов, встававших перед их воображением сквозь мрак теогоний, как призраки в облаках.

Только безбородые жрецы понимали Саламбо. Их морщинистые руки, державшие лиры, дрожали и время от времени извлекали из струн мрачные аккорды. Они были слабее старых женщин и трепетали от мистического возбуждения и от страха, который вызывали у них солдаты. Варвары не обращали на них внимания; они слушали поющую деву.

Пристальнее, чем кто-либо, смотрел на нее молодой нумидийский вождь, сидевший за столом военачальников среди воинов своего племени. Пояс его был утыкан стрелами и образовывал как бы горб под его широким плащом, привязанным к голове кожаным ремешком. Расходившийся на плечах плащ окружал тенью его лицо; виден был только огонь его глаз. Он случайно попал на пир, – отец поселил его в доме Барки, как это было принято у царей, посылавших своих наследников в знатные семьи, чтобы подготовить брачные союзы. Нар Гавас жил во дворце уже полгода, но еще ни разу не видал Саламбо; сидя на корточках, опустив бороду на древки своих дротиков, он разглядывал ее, и его ноздри раздувались, как у леопарда, притаившегося в камышах.

По другую сторону столов расположился ливиец огромного роста, с короткими черными курчавыми волосами. Он снял доспехи, – на нем была только военная куртка; медные нашивки ее раздирали пурпур ложа. Ожерелье из серебряных полумесяцев запуталось в волосах на его груди. Лицо было забрызгано кровью. Он сидел, опершись на левый локоть, и улыбался широко раскрытым ртом.

Саламбо перестала петь. Она заговорила на варварских наречиях, с женской чуткостью старалась смягчить гнев воинов. С греками она говорила по-гречески, а потом обратилась к лигурам, к кампанийцам, к неграм, и каждый из них, слушая ее, находил в ее голосе сладость своей родины. Увлеченная воспоминаниями о прошлом Карфагена, Саламбо запела о былых войнах с Римом. Варвары рукоплескали. Ее воспламеняло сверкание обнаженных мечей;

она вскрикивала, простирая руки. Лира ее упала, и она умолкла; затем, прижимая обе руки к сердцу, она несколько мгновений стояла, опустив веки и наслаждаясь волнением воинов.

Ливиец Мато всем телом подался к ней. Она невольно подошла к нему и, тронутая его восхищением, налила ему вина в золотую чашу, чтобы примириться с войском.

– Пей! – сказала она.

Он взял чашу и поднес ее к губам, но в это время один из галлов, тот, которого ранил Гискон, хлопнул его по плечу с веселой шуткой на своем родном наречии. Находившийся поблизости Спендий взялся перевести его слова.

– Говори! – сказал Мато.

– Да хранят тебя боги, ты будешь богат. Когда свадьба?

– Чья свадьба?

– Твоя! – сказал галл. – У нас, когда женщина наливает вино солдату, она тем самым предлагает ему разделить с ней ложе.

Он не успел кончить, как Нар Гавас вскочил, выхватил из-за пояса дротик и, упершись правой ногой в край стола, метнул его в Мато.

Дротик просвистел между чашами и, пронзив руку ливийца, с такой силой пригвоздил ее к скатерти, что рукоятка его задрожала.

Мато быстро высвободил руку; но у него не было оружия. Подняв обеими руками стол со всем, что на нем стояло, он кинул его в Нар Гаваса, в самую гущу толпы, бросившейся их разнимать. Солдаты и нумидийцы так тесно сгрудились, что не было возможности обнажить мечи. Мато продвигался, нанося удары головой. Когда он поднял голову, Нар Гавас исчез. Он стал искать его глазами. Саламбо тоже не было.

Тогда он взглянул на дворец и увидел, как закрылась наверху красная дверь с черным крестом. Он ринулся туда.

На виду у всех он побежал вверх по ступеням, украшенным галерами, поднялся по трем лестницам и, достигнув красной двери, толкнул ее изо всех сил. Задыхаясь, он прислонился к стене, чтобы не упасть.

Кто-то следовал за ним, и во мраке – огни пиршества были скрыты выступом дворца – он узнал Спендия.

– Уходи, – сказал ливиец.

Раб ничего не ответил, разорвал зубами свою тунику, потом опустился на колени перед Мато, нежно взял его руку и стал ощупывать ее в темноте, отыскивая рану.

При свете луны, выглянувшей из-за облаков, Спендий увидел на середине руки зияющую рану. Он обмотал ее куском ткани; но Мато с раздражением повторял:

– Оставь меня, оставь!

– Нет, – возразил раб. – Ты освободил меня из темницы. Я принадлежу тебе. Ты мой повелитель! Приказывай!

Мато, скользя вдоль стен, обошел террасу. На каждом шагу он прислушивался, и в промежутки между золочеными прутьями решеток взгляд его проникал в тихие покои. Наконец он в отчаянии остановился.

– Послушай! – сказал ему раб. – Не презирай меня за слабость! Я жил во дворце. Я могу, как змея, проползти между стен. Идем! В комнате предков под каждой плитой лежит слиток золота, подземный ход ведет к их гробницам.

– Зачем мне богатство! – сказал Мато.

Спендий умолк.

Они стояли на террасе. Перед ними был мрак, в котором, казалось, скрывались какие-то громады, подобные волнам окаменевшего черного океана.

Но вот в восточной стороне неба появилась светлая полоса. Слева, внизу, каналы Мегары прочертили белыми извилинами зелень садов. В свете бледной зари стали понемногу вырисовываться конические крыши семиугольных храмов, лестницы, террасы, укрепления; вдоль всего карфагенского полуострова задрожала кайма белой пены, а изумрудное море точно застыло в утренней прохладе. По мере того, как розовело небо, все яснее обозначались на склонах высокие дома, похожие на стадо черных коз, которое спускается с гор. Пустынные улицы удлинялись, уходили вдаль; пальмы, кое-где выглядывавшие из-за стен, стояли неподвижно. Полные доверху водоемы казались серебряными щитами, брошенными во дворах. Маяк Гермейского мыса побледнел. На верху акрополя, в кипарисовой роще, кони Эшмуна, чувствуя близость утра, становились копытами на мраморную ограду и ржали, повернув головы в сторону солнца.

Солнце взошло; Спендий, воздев руки, испустил крик.

Все зашевелилось в разлившемся багрянце, – бог, точно раздирая себя, в потоке лучей изливал на Карфаген свой золотой дождь. Сверкали тараны галер, крыша Камона казалась охваченной пламенем, засветились огни в открывшихся храмах. Колеса возов, прибывших из окрестностей, катились по каменным плитам улиц. Навьюченные поклажей верблюды спускались по тропам. Менялы открывали на перекрестках ставни своих лавок. Улетали аисты, трепетали белые паруса. В роще Танит ударяли в тамбурины священные блудницы, у околицы Маппал задымились печи для обжигания глиняных гробов.

Спендий наклонился над перилами террасы; у него стучали зубы, и он повторял:

– Да, да, повелитель! Я понимаю, отчего ты отказался грабить дом.

Мато, точно пробужденный его свистящим голосом, казалось, не понимал, что он говорит. Спендий продолжал:

– Какие богатства! А у тех, кто владеет ими, нет даже оружия, чтобы их защищать!

Он указал ему правой рукой на бедняков, которые ползли по песку за молом в поисках золотых песчинок.

– Посмотри, – сказал он. – Республика подобна этим жалким людям: склонившись над океаном, она простирает свои жадные руки ко всем берегам, и шум волн так заполняет ее слух, что она не услышала бы шагов подступающего к ней сзади властителя!

Он увлек Мато на другой конец террасы и показал ему сад, где сверкали на солнце мечи солдат, висевшие на деревьях.

– Но здесь собрались сильные люди, исполненные великой ненависти! Ничто не связывает их с Карфагеном – ни семья, ни клятвенные обеты, ни общие боги!

Мато стоял как прежде, прислонясь к стене. Спендий продолжал, понизив голос:

– Понимаешь ли ты меня, ратник? Мы станем ходить в пурпуре, как сатрапы. Нас будут умащать благовониями. У меня самого будут рабы. Разве тебе не надоело спать на твердой земле, пить кислое вино в лагерях и постоянно слышать звуки трубы? Или ты надеешься отдохнуть потом, когда с тебя сорвут латы и бросят твой труп коршунам? Или когда, опираясь на посох, слепой, хромой и немощный, ты будешь ходить от двери к двери и рассказывать про свою молодость малым детям и продавцам рассола? Вспомни о несправедливости вождей, о стоянках в снегу, о переходах под палящими лучами солнца, о суровой дисциплине и вечной угрозе казни на кресте! После стольких мытарств ты получил почетное ожерелье, – так на осла надевают нагрудник с погремушками, чтобы оглушить его в пути и не дать почувствовать усталости. А ведь ты более доблестный воин, чем Пирр! Если бы ты только захотел! Как будет хорошо в больших прохладных покоях, когда под звуки лир ты будешь возлежать, окруженный шутами и женщинами! Не говори, что предприятие это неосуществимо! Разве наемники не владели Регием и другими крепостями в Италии? Кто воспротивится тебе? Гамилькар отсутствует, народ ненавидит богатых, Гискон бессилен поднять окружающих его трусов. А ты отважен, тебе будут повиноваться. Прими на себя начальство над ними. Карфаген наш – завладеем им!

– Нет, – сказал Мато, – надо мной тяготеет проклятие Молоха. Я это почувствовал по ее глазам, а только что я видел в одном храме пятящегося черного барана.

Он прибавил, оглядываясь:

– Где же она?

Спендий понял, что Мато охвачен сильным волнением, и побоялся продолжать.

Деревья за ними еще дымились; с почерневших ветвей время от времени падали на блюда наполовину обгоревшие скелеты обезьян. Пьяные ратники храпели рядом с трупами, раскрыв рты, а те, что не спали, сидели, опустив голову, ослепленные дневным светом. Истоптанная земля была залита кровью. Слоны раскачивали между кольями загонов свои окровавленные хоботы. В открытых амбарах виднелись продырявленные мешки пшеницы, у ворот стоял плотный ряд колесниц, брошенных варварами; павлины, усевшись на ветвях кедров, распускали хвосты и пронзительно кричали.

Спендия удивляла неподвижность Мато; ливиец еще больше побледнел и следил остановившимся взглядом за чем-то вдали, опираясь обеими руками на перила террасы. Спендий, наклонившись, понял наконец, что рассматривал Мато. По пыльной дороге в Утику вращалась золотая точка. То была ось колесницы, запряженной двумя мулами; раб бежал перед дышлом, держа поводья. В колеснице сидели две женщины. Гривы мулов были взбиты на персидский лад между ушей и покрыты сеткой из голубого бисера. Спендий узнал женщин и едва сдержал крик. Сзади развевалось по ветру широкое покрывало.

II. В Сикке

Два дня спустя наемники выступили из Карфагена. Каждому из них дали по золотому с условием, чтобы они расположились лагерем в Сикке, при этом им было сказано много льстивых слов:

– Вы – спасители Карфагена. Но, оставаясь в нем, вы разорите город и оголодите его; Карфагену нечем будет платить. Удалитесь! Республика вознаградит вас за уступчивость. Мы тотчас же введем новый налог. Жалованье будет выплачено вам полностью, мы снарядим галеры, которые отвезут вас на родину.

Они не знали, что ответить на такие речи. Привыкнув к войне, люди эти скучали в городе. Поэтому их нетрудно было уговорить; народ поднялся на городские стены, чтобы видеть, как они уходят,

Они прошли по Камонской улице, миновали Циртские ворота и продолжали путь вперемешку: стрелки с гоплитами, начальники с простыми солдатами, лузитанцы с греками. Они шли бодрым шагом, и каменные плиты мостовой звенели под их тяжелыми котурнами. Доспехи их пострадали от катапульт, лица почернели в битвах. Хриплые крики вылетали из уст людей с густой бородой. Разорванные кольчуги звенели о рукоятки мечей; сквозь продырявленные латы виднелись голые тела, устрашающие, как боевые машины. Пики, топоры, рогатины, войлочные шапки, медные шлемы – все мерно колыхалось. Они наводнили улицы; казалось, что стены раздвинутся от напора, когда длинные ряды вооруженных солдат проходили между высокими семиэтажными домами, покрытыми битумом. За железными или камышовыми оградами стояли женщины в покрывалах и безмолвно глядели на проходящих варваров.

Террасы, укрепления, стены были усеяны карфагенянами в черных одеждах. Туники матросов казались кровавыми пятнами на этом темном фоне; полунагие дети с лоснящейся кожей махали руками в медных браслетах среди зелени, обвивавшей колонны, и в ветвях пальм. Старейшины вышли на площадки башен, и, неизвестно почему, то тут, то там задумчиво стояли эти люди с длинными бородами. Они вырисовывались вдали на фоне неба, смутные, как привидения, неподвижные, как камни.

Всех охватила тревога. Опасались, как бы варвары, поняв свою силу, не вздумали вдруг остаться. Но они так доверчиво покидали город, что карфагеняне воспрянули духом и присоединились к солдатам. Они обнимали их, забрасывали клятвами, давали им благовония, цветы и даже серебряные деньги. Варварам дарили амулеты против болезней, предварительно, однако, трижды плюнув на амулеты, чтобы привлечь смерть, или же прятали внутрь волоски шакала, чтобы сердце носящего преисполнилось трусости. Вслух призывали благословения Мелькарта, а втихомолку – его проклятия.

Потом потянулись обозы, убойный скот и все отставшие.

Больные, посаженные на дромадеров, стонали; хромые опирались на обломки пик. Пьяницы тащили с собой мехи с вином; обжоры несли мясные туши, пироги, плоды, масло, завернутое в виноградные листья, лед в полотняных мешках.

Одни шли под зонтами, другие с попугаями на плече; третьи вели за собою собак, газелей или пантер. Ливийские женщины, сидя на ослах, ругали негритянок, покинувших лупанары Малки, чтобы следовать за солдатами; некоторые из них кормили грудью младенцев, привязанных к их шее кожаными ремнями. Мулы, которых понукали остриями мечей, сгибались под тяжестью свернутых палаток. Затем шли слуги и водоносы, бледные, пожелтевшие от лихорадки, покрытые паразитами; это были подонки карфагенской черни, примкнувшие к варварам.

Когда прошли и они, ворота были заперты, но народ не спускался со стен. Вскоре войско рассеялось по всему перешейку.

Оно разбилось на неровные отряды. Потом копья стали казаться издали высокими стеблями трав, и наконец все исчезло в облаке пыли. Воины, оборачиваясь к Карфагену, не видели ничего, кроме длинных стен, зубцы которых вырисовывались на фоне неба.

Тут варвары услышали громкий крик. Они подумали, что солдаты, оставшиеся в городе (они не знали в точности, сколько их всего), вздумали разграбить какой-нибудь храм. Это их позабавило, и они, смеясь, продолжали путь.

Им весело было шагать, как прежде, всем вместе, в открытом поле. Греки пели старую мамертинскую песню:

«Своим копьем и своим мечом я вспахиваю землю и собираю жатву: я – хозяин дома! Обезоруженный противник падает к моим ногам и называет меня властелином и царем».

Солдаты кричали, прыгали, а самые веселые принимались рассказывать смешные истории; время бедствий миновало. Когда они дошли до Туниса, кто-то заметил, что исчез отряд балеарских пращников. Они, верно, были неподалеку. О них тотчас же забыли.

Одни отправились на ночлег в дома, другие расположились у подножия стен, и горожане пришли поговорить с солдатами.

Всю ночь на горизонте со стороны Карфагена видны были огни; отсветы, подобные гигантским факелам, тянулись вдоль неподвижного озера. Никто из

солдат не знал, какой там справляли праздник.

На следующий день варвары прошли по возделанным полям. Вдоль дороги тянулся ряд патрицианских ферм; по пальмовым рощам протекали водоотводные каналы; масличные деревья стояли длинными зелеными рядами; в ущельях, между холмами, плыл розовый туман; сзади высились синие горы. Дул теплый ветер. По широким листьям кактусов ползали хамелеоны.

Варвары замедлили шаг.

Они шли разрозненными отрядами или же плелись поодиночке на далеком расстоянии друг от друга. Проходя мимо виноградников, они ели виноград. Они ложились на траву и с изумлением смотрели на закрученные рога быков, на овец, покрытых шкурами для защиты их шерсти, на то, как скрещивались в виде ромбов борозды; их удивляли лемехи, похожие на корабельные якоря, а также гранатовые деревья, которые поливались сильфием. Щедрость земли и мудрые измышления человека поражали их.

Вечером солдаты легли на палатки, не развернув их; засыпая, они смотрели на звезды и жалели, что кончился пир во дворце Гамилькара.

На следующий день, после полудня, был сделан привал на берегу реки, среди олеандровых кустов. Воины сбросили наземь щиты, копья, сняли пояса. Они мылись с криками, набирали воду в шлемы, а некоторые, лежа на животе, пили вместе с вьючными животными, которых освободили от поклажи.

Спендий, сидя на дромадере, украденном во владениях Гамилькара, увидел издали Мато с подвязанной рукой и непокрытой головой; он поил своего мула и, склонившись, глядел, как течет вода. Спендий тут же протиснулся сквозь толпу и стал звать его:

– Господин! Господин!

Мато едва поблагодарил его за благословения. Спендий не обратил на это внимания и пошел за ним, время от времени беспокойно оглядываясь в сторону Карфагена.

Он был сыном греческого ритора и кампанской блудницы. Сначала он обогатился, торгуя женщинами, потом, разоренный кораблекрушением, воевал против римлян в рядах пастухов Самниума. Его взяли в плен, но он бежал.

Его поймали, и после этого он работал в каменоломнях, задыхался в сушильнях, кричал, когда его истязали, переменил много хозяев, испытал неистовство их гнева. Однажды, придя в отчаяние, он бросился в море с триремы, где был гребцом. Матросы спасли его и привезли умирающим в Карфаген; там его заключили в мегарский эргастул. Но так как предстояло вернуть римлянам их перебежчиков, он воспользовался сумятицей и убежал вместе с наемниками.

В течение всего пути он не отставал от Мато, приносил ему еду, поддерживал его на спусках, а вечером подстилал ему под голову ковер. Мато наконец тронули его заботы, и мало-помалу он заговорил.

Мато родился в Сиртском заливе. Отец водил его на богомолье в храм Аммона. Потом он охотился на слонов в гарамантских лесах. Затем поступил на карфагенскую службу.

При взятии Дрепана его возвели в звание тетрарха. Республика осталась ему должна четыре лошади, двадцать три медины пшеницы и жалованье за целую зиму. Он страшился богов и желал умереть у себя на родине.

Спендий говорил ему о своих странствиях, о народах и храмах, которые он посетил. Он многому научился, умел изготовлять сандалии и рогатины, плести сети, приручать диких зверей и готовить рыбу.

Иногда он останавливался и издавал хриплый крик; мул Мато ускорял шаг, и другие мулы тоже быстрее шли за ними; затем Спендий снова принимался говорить, по-прежнему обуреваемый тревогой. Она улеглась вечером на четвертый день.

Они поднимались рядом, с правой стороны войска, по склону холма; долина внизу уходила вдаль, теряясь в ночной мгле; шеренги солдат, шедших под ними, колыхались в темноте. Временами войска проходили по возвышенности, освещенной луной. Тогда на остриях копий как будто вспыхивала звезда, шлемы начинали сверкать, затем все исчезало, и на смену ушедшим являлись другие. Вдали слышалось блеяние разбуженных стад; казалось, что на землю спускается

бесконечная тишина.

Спендий, запрокинув голову, полузакрыл глаза и, глубоко вздыхая, впитывал в себя свежесть ветра. Он раздвигал руки и шевелил пальцами, чтобы лучше чувствовать негу, струившуюся по телу. Его душила жажда мщения. Он прижимал руку ко рту, чтобы остановить рыдания, и, трепеща от ненависти, отпускал недоуздок своего дромадера, который шел большими ровными шагами. Мато снова погрузился в печаль; ноги его свисали до земли, травы, стегая по котурнам, издавали непрерывный свистящий звук.

Путь все удлинялся; казалось, ему не будет конца. Равнина неизменно переходила в круглое плоскогорье, затем снова надо было спускаться в долину; горы, которые только что вставали стеной, как бы отступали, когда к ним приближались. Время от времени среди зелени тамарисков показывалась река, а затем пропадала за холмами. Иногда появлялся огромный утес, подобный носу корабля или подножию исчезнувшего колосса.

По пути встречались на равном расстоянии один от другого маленькие четырехугольные храмы; ими пользовались странники, направлявшиеся в Сикку. Храмы были заперты, как гробницы. Ливийцы громко стучались в двери, требуя, чтобы им открыли. Никто изнутри не отвечал.

Возделанные поля попадались все реже. Потянулись песчаные полосы земли с редкими тернистыми кустами. Среди камней паслись стада овец; за ними присматривали женщины в синих овечьих шкурах. Они с криком пускались бежать, едва завидев копья солдат между скалами.

Воины шли точно по длинному коридору с вереницей красноватых холмов по бокам, как вдруг их остановило страшное зловоние, и они увидели необычайное зрелище: на верхушке одного из рожковых деревьев среди листьев торчала львиная голова.

Они подбежали к дереву; перед ними был лев, распятый, точно преступник, на кресте. Его мощная голова опустилась на грудь, и передние лапы, наполовину скрытые гривой, были распростерты, как крылья птицы. Ребра выступали под натянутой кожей; задние лапы, прибитые одна к другой, были слегка поджаты, черная кровь, стекая по шерсти, образовала сосульки на конце хвоста, который свисал до земли. Ратников это зрелище позабавило. Они обращались ко льву,

называя его римским гражданином и консулом, и бросали ему в глаза камешки, чтобы прогнать мошкару.

Пройдя сто шагов, они увидели еще два креста, а дальше появился внезапно целый ряд крестов с распятыми львами. Некоторые околели так давно, что на крестах висели только остатки их скелетов. Другие, наполовину обглоданные, искривили пасть в страшной гримасе. Среди них были громадные львы. Кресты гнулись под их тяжестью, и они качались на ветру, в то время как над их головой неустанно кружили стаи воронов. Так мстили карфагенские крестьяне, захватив какого-нибудь хищного зверя. Они надеялись отпугнуть этим примером других. Варвары уже не смеялись, они пришли в изумление. «Что это за народ, – думали они, – который для потехи распинает львов!»

Большинство наемников, особенно северяне, были охвачены тревогой, измучены, больны. Они раздирали себе руки о колючки алоэ; большие комары своим писком терзали им слух; то тот, то другой заболевал кровавым поносом. Воинов беспокоило, что все еще не видно Сикки. Они боялись заблудиться, попасть в пустыню, страну песков и всяких ужасов. Многие не хотели идти дальше. Иные повернули назад, в Карфаген.

Наконец, на седьмой день после того как они долго шли у подножия гор, дорога резко повернула вправо; их глазам представилась линия стен, воздвигнутых на белых утесах и сливавшихся с ними. Затем вдруг открылся весь город; в багровом свете заката на стенах развевались синие, желтые и белые покрывала. То были жрицы Танит, прибежавшие встречать воинов. Выстроившись вдоль укреплений, они ударяли в бубны, играли на лирах, потрясали кроталами, и лучи солнца, заходившего позади них в нумидийских горах, скользили по струнам арф, к которым прикасались их обнаженные руки. По временам инструменты внезапно умолкали, и раздавался резкий, пронзительный, долгий крик, похожий на лай: они издавали его, ударяя языком об углы рта. Иные стояли, подперев подбородок рукой, неподвижнее сфинксов, и устремив большие черные глаза на поднимавшееся войско.

Хотя Сикка был священным городом, все же он не мог дать приют такому количеству людей; один только храм со своими строениями занимал половину города. Поэтому варвары расположились на равнине по своему усмотрению, дисциплинированная часть войска – правильными отрядами, а другие – по национальностям или как попало.

Греки разбили шатры из звериных шкур параллельными рядами, иберийцы поставили кругом свои холщовые палатки, галлы построили шалаши из досок, ливийцы – хижины из камней, а негры вырыли ногтями в песке углубления для ночлега. Многие, не зная, где поместиться, бродили среди поклажи, а ночью укладывались на землю, завернувшись в рваные плащи.

Вокруг них лежала равнина, окаймленная горами. Кое-где над песчаным холмом склонялась пальма, а по откосам пропастей выступали пятнами сосны и дубы. Иногда в грозу дождь повисал длинным пологом, в то время как небо над полями оставалось лазурным, ясным; потом теплый ветер гнал вихри пыли, ручей спускался каскадами с высот Сикки, где под золотой крышей стоял на медных колоннах храм Венеры Карфагенской, владычицы страны. Ее душа как бы наполняла все вокруг. Волнистой линией холмов, сменой холода и тепла, а также игрой света она являла бесконечность своей силы и красоту своей вечной улыбки. Вершины гор были похожи то на рога полумесяца, то на сосцы полных женских грудей, и варвары при всей своей усталости чувствовали полное сладости томление.

Спендий, продав дромадера, купил на вырученные деньги раба. Он весь день спал, растянувшись перед палаткой Мато. Иногда он просыпался; во сне ему мерещился свист бича, и, улыбаясь, он проводил руками по рубцам на ногах, на том месте, где долго носил кандалы. Потом снова засыпал.

Мато мирился с его обществом, и Спендий, с длинным мечом у бедра, сопровождал его, как ликтор, или же Мато небрежно опирался рукой на его плечо: Спендий был низкорослый.

Однажды вечером, проходя вместе по улицам лагеря, они увидели людей в белых плащах; среди них был Нар Гавас, вождь нумидийцев. Мато вздрогнул.

– Дай меч, – воскликнул он, – я его убью!

– Подожди, – сказал Спендий, останавливая друга.

Нар Гавас уже подходил. Он прикоснулся губами к большим пальцам обеих рук в знак приязни и объяснил свой гнев опьянением на пиру. Потом долго обвинял Карфаген, но не сказал, зачем пришел к варварам.

«Кого он хочет предать: их или Республику?» – спрашивал себя Спендий; он надеялся извлечь пользу из всяких смут и потому был благодарен Нар Гавасу за будущие предательства, в которых он его подозревал.

Вождь нумидийцев остался жить среди наемников. Казалось, он хотел заслужить расположение Мато. Он посылал ему жирных коз, золотой песок и страусовые перья. Ливиец удивлялся его любезности и не знал, отвечать тем же или дать волю раздражению. Но Спендий успокаивал его, и Мато подчинялся рабу. Он все еще пребывал в нерешительности и не мог стряхнуть с себя непобедимое оцепенение, как человек, некогда выпивший напиток, от которого ему суждено умереть.

Однажды они отправились с утра охотиться на львов, и Нар Гавас спрятал под плащом кинжал. Спендий следовал за ним по пятам, и за все время охоты Нар Гавас ни разу не вынул кинжала.

В другой раз Нар Гавас завел их очень далеко, до границ своего королевства. Они очутились в узком ущелье. Нар Гавас с улыбкой заявил, что заблудился, Спендий нашел дорогу.

Но чаще всего Мато, печальный, как авгур, уходил на заре и бродил по полям. Он ложился где-нибудь на песок и до вечера не двигался с места.

Он обращался за советом ко всем колдунам в войске, к тем, кто наблюдает за движением змей, и к тем, кто читает по звездам, и к тем, кто дует на пепел сожженных трупов. Он глотал смолу, горный укроп и яд гадюк, леденящий сердце; негритянки пели при лунном свете заклинания на варварском языке и в это время кололи ему лоб золотыми стилетами; он навешивал на себя ожерелья и амулеты, взывал по очереди к Ваал-Камону, к Молоху, к семи Кабирам, к Танит и к греческой Венере. Он вырезал некое имя на медной пластинке и зарыл ее в песок на пороге своей палатки. Спендий слышал, как он стонал и говорил сам с собой.

Однажды ночью Спендий вошел к нему.

Мато, голый, как труп, лежал плашмя на львиной шкуре, закрыв лицо обеими руками; висячая лампа освещала оружие, висевшее на срединном шесте палатки.

– Что тебя томит? – спросил раб. – Что тебе нужно? Ответь мне.

Он стал трясти его за плечо и несколько раз окликнул:

– Господин! Господин!..

Мато поднял на него широко открытые, печальные глаза.

– Слушай! – сказал он тихим голосом, приложив палец к губам. – Гнев богов обрушился на меня! Меня преследует дочь Гамилькара! Я боюсь ее, Спендий!

Он прижимался к груди раба, как ребенок, напуганный призраком.

– Скажи мне что-нибудь! Я болен. Я хочу излечиться! Я испробовал все средства! Но, быть может, ты знаешь более могущественных богов или какое-нибудь неодолимое заклинание?

– Для чего? – спросил Спендий.

Мато стал бить себя кулаками по голове.

– Чтобы избавиться от нее, – ответил он.

Потом, обращаясь к самому себе, он продолжал с расстановкой:

– Я, наверное, та жертва, которую она обещала принести богам в искупление чего-то. Она привязала меня к себе цепью, невидимой для глаз. Когда я хожу, это идет она; когда я останавливаюсь, значит, и она отдыхает! Ее глаза жгут меня, я слышу ее голос. Она окружает меня, проникает в меня. Мне кажется, она сделалась моей душой! И все же нас как будто разделяют невидимые волны безбрежного океана! Она далека и недоступна. Сияние красоты окружает ее светящимся облаком. Иногда мне кажется, что я ее никогда не видел, что она не существует, что все это сон!

Так причитал Мато во мраке. Варвары спали. Спендий, глядя на него, вспоминал юношей с золотыми сосудами в руках – юношей, которые обращались к нему в

былое время с мольбами, когда он водил по улицам городов толпу блудниц. Его охватила жалость, и он сказал:

– Не падай духом, господин мой! Призывай на помощь свою волю, но не моли богов: они не снисходят на призывы людей! Вот ты теперь малодушно плачешь. Тебе не стыдно страдать из-за женщины?

– Что я, по-твоему, дитя? – возразил Мато. – Ты думаешь, меня еще трогают женские лица и песни женщин? У нас в Дрепане их посылали чистить конюшни. Я обладал женщинами среди набегов, под рушившимися сводами и когда еще дрожали катапульты!.. Но эта женщина, Спендий, эта!..

Раб прервал его:

– Не будь она дочь Гамилькара…

– Нет! – воскликнул Мато. – Она не такая, как остальные, другой такой женщины нет на свете. Ты видел, какие у нее большие глаза и густые брови, – глаза, подобные солнцам под арками триумфальных ворот? Вспомни: когда она появилась, свет факелов потускнел. Под алмазами ожерелья блистала ее обнаженная грудь. Следом за нею точно неслось благоухание храма, и от всего ее существа исходило нечто более сладостное, чем вино, и более страшное, чем смерть. Она шла, а потом остановилась.

Он умолк. Глаза его были устремлены вдаль, взгляд неподвижен.

– Я жажду обладать ею! Я умираю от желания! При мысли о том, что я сожму ее в своих объятиях, меня охватывает неистовый восторг. И все же я ненавижу ее! Мне бы хотелось избить ее, Спендий! Что мне делать? Я хочу продать себя, чтобы стать ее рабом. Ты ведь был ее рабом! Ты иногда видел ее. Расскажи мне что-нибудь о ней! Ведь она каждую ночь поднимается на террасу дворца, правда? Камни, наверно, трепещут под ее сандалиями, и звезды нагибаются, чтобы взглянуть на нее.

Он в бешенстве упал и захрипел, точно раненый бык.

Потом Мато запел:

«Он преследовал в лесу чудовище с женским телом, с хвостом, извивавшимся по сухой листве, как серебряный ручей».

Растягивая слова, Мато подражал голосу Саламбо, его вытянутые руки как бы скользили по струнам лиры.

В ответ на все утешения Спендия он говорил одно и то же. Ночи проходили среди стонов и увещаний.

Мато хотел заглушить свои страдания вином. Но опьянение только усиливало его печаль. Тогда, чтобы развлечься, он стал играть в кости и проиграл одну за другой все золотые бляхи своего ожерелья. Он согласился пойти к прислужницам богини, но, спускаясь с холма, рыдал, точно шел с похорон.

Спендий в противоположность ему становился все отважнее и веселее. Он вел беседы с солдатами в кабачках под деревьями, чинил старые доспехи, жонглировал кинжалами, собирал травы для больных. Он шутил, был умен, находчив, общителен; варвары привыкли к его услугам и полюбили его.

Они ждали посла из Карфагена, который должен был привезти им на мулах корзины, груженные золотом; производя наново все те же расчеты, они чертили пальцами на песке цифры за цифрами. Каждый строил планы на будущее, рассчитывал иметь наложниц, рабов, землю. Некоторые намеревались зарыть свои сокровища или рискнуть увезти их на кораблях. Но полное безделье стало раздражать солдат; начались споры между конницей и пехотой, между варварами и греками; беспрестанно раздавались озлобленные женские голоса.

Каждый день к ним являлись полчища почти нагих людей, покрывавших себе голову травами для защиты от солнца. Это были должники богатых карфагенян; их заставили обрабатывать землю заимодавцев, и они спаслись бегством. Приходило множество ливийцев, крестьян, разоренных налогами, изгнанников, преступников. Затем прибыла орда торговцев: все продавцы вина и растительного масла, взбешенные тем, что им не уплатили, и враждебно настроенные против Республики. Спендий ораторствовал, обвиняя Карфаген. Вскоре стали истощаться припасы. Начали поговаривать о том, чтобы, сплотившись, идти всем на Карфаген или же призвать римлян.

Однажды в час ужина раздались приближающиеся низкие надтреснутые звуки; вдалеке на холмистой равнине показалось что-то красное.

То были большие носилки пурпурового цвета, украшенные по углам пучками страусовых перьев. Хрустальные цепи и нити жемчуга ударялись о стянутые занавеси. За носилками следовали верблюды, позванивая колокольчиками, висевшими у них на груди. Верблюдов окружали наездники в чешуйчатых золотых латах от плеч до самых пят.

Они остановились в трехстах шагах от лагеря и вынули из чехлов, привязанных к седлам, круглые щиты, широкие мечи и беотийские шлемы. Часть всадников осталась при верблюдах, остальные двинулись вперед. Наконец показались эмблемы Республики – синие деревянные шесты с конской головой или сосновой шишкой наверху. Варвары поднялись со своих мест и стали рукоплескать; женщины подбегали к легионерам и целовали им ноги.

Носилки приближались, покоясь на плечах двенадцати негров, которые шли в ногу мелкими быстрыми шагами. Они отклонялись то вправо, то влево, натыкаясь на веревки палаток, на скот, разбредшийся во все стороны, на треножники, где жарилось мясо. Время от времени высовывалась жирная рука в кольцах; хриплый голос выкрикивал ругательства. Тогда носильщики останавливались и меняли направление.

Пурпуровые занавеси носилок приподнялись; на широкой подушке покоилась голова человека с одутловатым равнодушным лицом; брови вырисовывались на лице, как две дуги из черного дерева, соединенные между собой; золотые блестки сверкали в курчавых волосах, лицо было очень бледное, точно осыпанное мраморным порошком. Тела не было видно под овечьими шкурами, покрывавшими его.

Воины узнали в лежащем человеке суффета Ганнона, того, кто своей медлительностью содействовал поражению в битве при Эгатских островах; что касается победы над ливийцами при Гекатомпиле, его тогдашнее милосердие к побежденным было вызвано, как полагали варвары, корыстолюбием: он продал всех пленных, а деньги взял себе, хотя заявил Совету, что умертвил их.

Некоторое время Ганнон искал удобного места, откуда можно было бы обратиться с речью к солдатам; наконец он сделал знак; носилки остановились,

и суффет, поддерживаемый двумя рабами, шатаясь, спустил ноги на землю.

На нем были черные войлочные башмаки, усеянные серебряными полумесяцами. Ноги были стянуты перевязками, как у мумий, между скрещивающимися полосами холста проступало местами тело. Живот свешивался из-под красной куртки, покрывавшей бедра; складки шеи лежали на груди, как подгрудок у быка; туника, расписанная цветами, трещала под мышками; на суффете был шарф, пояс и длинный черный плащ с двойными зашнурованными рукавами. Чрезмерное количество одеяний, большое ожерелье из синих камней, золотые застежки и тяжелые серьги делали его уродство еще более отвратительным. Он казался грубым идолом, высеченным из камня; бледные пятна, покрывавшие все его тело, придавали ему вид неживого. Только нос, крючковатый, как клюв ястреба, раздувался, вдыхая воздух, а маленькие глаза со слипшимися ресницами сверкали жестким, металлическим блеском. Он держал в руке лопаточку из алоэ для того, чтобы почесываться.

Наконец два глашатая затрубили в серебряные рога; шум смолк, и Ганнон заговорил.

Он начал с прославления богов и Республики; варвары должны радоваться, что служили ей. Но необходимо выказать больше благоразумия, ибо времена пришли тяжелые: «Когда у хозяина всего три маслины, разве не справедливо, если он оставит две для себя?»

Так старик суффет уснащал свою речь пословицами и притчами, кивая головой, чтобы вызвать одобрение слушателей.

Он говорил на пуническом наречии, а те, кто окружал его (самые проворные прибежали без оружия), были кампанийцы, галлы и греки, – воины не понимали его. Заметив это, Ганнон умолк и, раздумывая, стал тяжело переминаться с ноги на ногу.

Наконец он решил созвать военачальников. Глашатаи возвестили его приказ по-гречески – этот язык со времен Ксантиппа был принят в карфагенском войске для приказов.

Стража отстранила ударами бича толпу воинов, и вскоре явились начальники фаланг, построенных по спартанскому образцу, а также вожди варварских

когорт со знаками своего ранга и в доспехах своего племени. Спустилась ночь, равнина огласилась смутным гулом, кое-где засверкали огни; все засуетились, спрашивали, что случилось, почему суффет не раздает денег.

Он разъяснил военачальникам затруднительное положение Республики. Казна ее иссякла. Дань, уплачиваемая римлянам, разоряет ее.

– Мы не знаем, как быть!.. Республика в плачевном положении!

Время от времени он почесывал тело лопаточкой из алоэ или же прерывал свою речь, чтобы поднести ко рту серебряную чашу, которую протягивал ему раб, и отхлебнуть питья, приготовленного из пепла ласки и спаржи, вываренной в уксусе. Потом он вытирал губы пурпуровой салфеткой и продолжал:

– То, что стоило прежде сикль серебра, стоит теперь три шекеля золотом, и земли, запущенные во время войны, ничего не приносят!.. Улов пурпура ничтожный, жемчуг – и тот стоит баснословно дорого, у нас едва хватает благовонных масел для служения богам! Что касается съестных припасов, то о них лучше не говорить: настоящее бедствие! Из-за недостатка галер у нас нет пряностей, очень трудно добывать сильфий вследствие мятежей на киренской границе. Сицилия, откуда прежде вывозили столько рабов, теперь для нас закрыта! Еще вчера за одного банщика и четырех кухонных слуг я заплатил больше, чем прежде за двух слонов!

Он развернул длинный свиток папируса и прочел, не пропуская ни одной цифры, все расходы, произведенные правительством: столько-то за работы в храмах, за мощение улиц, за постройку кораблей, столько-то ушло на ловлю кораллов, столько-то – на расширение сисситских торговых обществ, столько-то стоили сооружения на рудниках в Кантабрии.

Военачальники, как и воины, не понимали по-гречески, хотя наемники обменивались приветствиями на этом языке. Обыкновенно в войска варваров отряжали нескольких карфагенских чиновников, чтобы они служили там переводчиками. Но после войны они скрылись, боясь, что им будут мстить. Ганион не подумал о том, чтобы взять с собою переводчика, к тому же голос у него был слабый, и ветер заглушал его.

Греки, стянутые железными поясами, напрягали слух, стараясь уловить слова оратора, а горцы, покрытые мехом, как медведи, недоверчиво смотрели на Ганнона или зевали, опираясь на тяжелые дубины с медными гвоздями. Галлы не обращали внимания на то, что говорилось, и насмешливо встряхивали пучком высоко зачесанных волос; жители пустыни слушали неподвижно, закутавшись в серые шерстяные одежды. Прибывали новые воины; стражники, которых теснила толпа, шатались, сидя на лошадях; негры держали в вытянутых руках горящие сосновые ветви, а толстый карфагенянин продолжал свою речь, стоя на поросшем травою пригорке.

Варвары, однако, стали терять терпение; поднялся ропот, все заговорили с Ганноном. Он потрясал своей лопаточкой; те, кто хотел принудить к молчанию других, кричали еще громче, и от этого шум только усиливался.

Вдруг к Ганнону подскочил невзрачный с виду человек и затрубил, выхватив рог у одного из глашатаев; этим Спендий (ибо это был он) возвестил, что собирается объявить нечто важное. На его возвещение, быстро произнесенное на пяти разных языках – греческом, латинском, галльском, ливийском и балеарском, военачальники, посмеиваясь и изумляясь, ответили:

– Говори! Говори!

С минуту Спендий колебался, он весь дрожал; наконец, обращаясь к ливийцам, которых было больше всего в толпе, он сказал:

– Вы все слышали страшные угрозы этого человека?

Ганнон не возмутился – значит, он не понимал по-ливийски. Продолжая свой опыт, Спендий повторил ту же фразу на других наречиях варваров.

Слушатели с удивлением переглядывались; потом, точно по молчаливому сговору, а может быть, думая, что они все поняли, опустили головы в знак согласия.

Тогда Спендий заговорил, горячась:

– Он сказал прежде всего, что боги других народов – призраки по сравнению с богами Карфагена! Он назвал вас трусами, ворами, лгунами, псами и собачьими сынами! Если бы не вы, Республике (так он и сказал) не пришлось бы платить дань римлянам: своими набегами вы лишили ее ароматов и благовоний, рабов и сильфия, ибо вы вошли в соглашение с кочевниками на киренской границе! Но виновных покарают! Он прочел список наказаний, которым их подвергнут: их заставят мостить улицы, снаряжать корабли, украшать сисситские дома, а других пошлют рыть землю на рудниках в Кантабрии.

Спендий повторил то же самое галлам, грекам, кампанийцам, балеарам. Узнав несколько имен, донесшихся до их слуха, наемники были убеждены, что он точно передает речь суффета. Несколько человек крикнули ему: «Ты лжешь!», – но их голоса потонули в общем гуле. Спендий прибавил:

– Разве вы не заметили, что он оставил у входа в лагерь часть своей конницы? По его знаку воины примчатся, чтобы всех вас умертвить.

Варвары повернулись в сторону входа; толпа расступилась, и в центре ее очутился человек, двигавшийся медленно, точно призрак, сгорбленный, худой, совершенно голый, покрытый до пояса длинными взъерошенными волосами с торчащими в них сухими листьями и шипами, весь в пыли. Бедра и колени его были обмотаны соломой, смешанной с глиной, и холщовым тряпьем; сморщенная землистая кожа свисала с костлявого тела, как мох с сухих веток; руки непрерывно дрожали, и шел он, опираясь на палку из оливкового дерева.

Он приблизился к неграм, державшим факелы. Тупая, бессмысленная усмешка обнажила его бледные десны. Он рассматривал широко раскрытыми, испуганными глазами толпу варваров.

Вдруг он отскочил и спрятался за их спины.

– Вот они, вот они! – бормотал он, указывая на охрану суффета, неподвижно застывшую в своих сверкающих латах.

Лошади вздымались на дыбы, ослепленные факелами, с треском пылавшими во мраке. Человек, казавшийся призраком, бился и вопил:

– Они их убили!

При этих словах, которые он выкрикивал на балеарском наречии, прибежали балеары и узнали его; не отвечая им, он повторял:

– Да, убили, всех убили! Раздавили, как виноград! Таких молодых, таких красивых! Метателей из пращи! Моих товарищей и ваших!

Ему дали вина, и он заплакал; потом начал говорить без умолку.

Спендий едва сдерживал свою радость, объясняя грекам и ливийцам, о каких ужасах рассказывал Зарксас. Он боялся верить его словам, до того все это было кстати. Балеары бледнели, слушая о том, как погибли их товарищи.

Речь шла об отряде в триста пращников, прибывших накануне ухода наемников и слишком поздно вставших в то утро. Когда они пришли на площадь к храму Камона, варваров уже не было; и они очутились без всяких средств защиты, так как их глиняные ядра были навьючены на верблюдов вместе с остальной поклажей. Им дали вступить в Сатебскую улицу и дойти до дубовых ворот, обшитых изнутри медью; тогда население сразу ринулось на них.

Воины действительно вспомнили, что до них донесся страшный крик; Спендий, бежавший во главе колонн, ничего не слышал.

Потом трупы положили на руки богов Патэков, которые стояли вокруг храма Камона. На убитых взвели все преступления наемников: обжорство, воровство, безбожие, глумление, а также убийство рыб в саду Саламбо. Над их телами надругались; жрецы жгли им волосы, чтобы мучилась их душа; затем их развесили по кускам в мясных; кое-кто вонзал в них зубы; а вечером, чтобы покончить с ними, на перекрестках зажгли костры.

Это и были те огни, что светились вдали на озере. Но так как от костров загорелось несколько домов, остальные трупы, так же как и умирающих, сбросили со стен. Зарксас прятался до следующего дня в камышах на берегу озера; потом он долго шел, отыскивая войско по следам в пыли. Утром он скрывался в пещерах, а вечером снова отправлялся в путь. Из его ран струилась кровь, он был голоден, болен, питался кореньями и падалью. Наконец он увидел в отдалении копья и пошел следом за ними; разум его помутился от ужаса и страданий.

Возмущение солдат разразилось, как буря, когда Зарксас замолчал; они хотели тотчас же уничтожить охрану вместе с суффетом. Однако кое-кто воспротивился этому, говоря, что нужно выслушать суффета и по крайней мере узнать, заплатят ли им. Тогда все закричали:

– Наше жалованье!

Ганнон ответил, что привез деньги.

Все бросились к аванпостам, и при участии варваров поклажу суффета привезли в лагерь; не дожидаясь рабов, они сами развязали корзины; там находились одежды из фиолетовых тканей, губки, лопаточки для почесывания, щетки, благовония, палочки из сурьмы, чтобы подводить глаза; все это принадлежало конной охране, людям богатым и изнеженным. Среди клади оказался также большой бронзовый чан, навьюченный на верблюда: дорогой суффет мылся в этом чане. Суффет принимал всякие предосторожности, заботясь о своем здоровье; он вез в клетках даже ласок из Гекатомпиля, которых сжигали живыми для изготовления лекарственного питья. А так как болезнь Ганнона вызывала у него большой аппетит, то он взял с собой много съестных припасов и вина, рассолы, мясо и рыбу в меду, а также горшочки из Коммагена с топленым гусиным жиром, покрытые снегом и рубленой соломой. Таких горшочков припасено было очень много: их находили в каждой корзине, что вызывало каждый раз взрыв смеха.

Что же касается жалованья наемников, оно занимало не более двух плетеных корзин; в одной из них были обнаружены просто кожаные кружочки, которыми Республика пользовалась, чтобы тратить поменьше звонкой монеты; когда же варвары выразили крайнее изумление, Ганнон объяснил, что ввиду сложности расчетов старейшины еще не успели их произвести и пока посылают вот это.

Тогда наемники стали бить и опрокидывать все, что попадалось им под руку: мулов, слуг, носилки, провизию, поклажу. Они брали пригоршнями деньги из мешков и побивали ими Ганнона. Он с трудом сел на осла и, уцепившись за его шерсть, пустился в бегство, рыдая, вопя, изнемогая от тряски и призывая на войско проклятие всех богов. Широкое ожерелье из драгоценных камней прыгало у него на груди, подскакивая до самых ушей. Он придерживал зубами длинный плащ, который волочился вслед за ним, а варвары кричали ему издали:

– Убирайся, трус! Боров! Клоака Молоха! Улепетывай со своим золотом, со своей заразой! Скорей! Скорей!

Охрана скакала за ним в беспорядке.

Но бешенство варваров не утихало. Они вспомнили, что несколько человек, ушедшие в Карфаген, не вернулись обратно: их, наверное, убили. Несправедливость карфагенян привела наемников в неистовство, и они стали вырывать шесты палаток, свертывать плащи, седлать лошадей; каждый брал свой шлем и копье – в одну минуту все было готово к походу. У кого не нашлось оружия, те бежали в лес, чтобы нарезать палок.

Занимался день; население Сикки проснулось и высыпало на улицу.

– Они идут на Карфаген! – говорили горожане, и этот слух вскоре распространился по всей стране.

На каждой тропинке, из каждого рва появлялись люди. Пастухи бегом спускались с гор.

Когда варвары ушли, Спендий объехал равнину, сидя верхом на пуническом жеребце; рядом с ним раб вел третью лошадь.

Из всех палаток осталась только одна. Спендий вошел в нее.

– Вставай, господин! Мы выступаем!

– Куда? – спросил Мато.

– Идем на Карфаген! – крикнул Спендий.

Мато вскочил на лошадь, которую раб держал наготове у входа в палатку.

III. Саламбо

Луна вышла из-за моря, и в городе, еще покрытом мраком, заблестели светлые точки и выступили белые пятна: дышло колесницы во дворе, полотняная ветошь, развешанная на веревке, часть стены, золотое ожерелье на груди идола. Стеклянные шары на крышах храмов засверкали, как огромные алмазы. Но смутные очертания развалин, насыпи черной земли и сады все еще казались темными глыбами во мраке; в нижней части Малки сети рыбаков тянулись из дома в дом, словно гигантские летучие мыши, распростершие свои крылья. Уже не слышно было скрипа гидравлических колес, поднимавших воду в верхние этажи дворцов; верблюды спокойно отдыхали на террасах, лежа на животе, как страусы. Привратники спали на улицах у порогов домов. Тень колоссов удлинялась на пустынных площадях; вдали, над бронзовыми плитками крыш, вился дым пылающей жертвы; морской ветер приносил вместе с ароматами запах водорослей и стен, нагретых солнцем. Вокруг Карфагена блестели недвижные воды, ибо луна лила свет на окруженный горами залив и на Тунисское озеро, где среди песчаных отмелей виднелись длинные ряды розовых фламинго; а дальше, ниже катакомб, широкая соленая лагуна сверкала, как серебро. Свод синего неба сливался вдали с пылью равнин по одну сторону, с морскими туманами – по другую; на вершине акрополя пирамидальные кипарисы, окружившие храм Эшмуна, покачивались с тихим рокотом, подобным шуму волн, набегавших на мол у подножия крепостных стен.

Саламбо поднялась на террасу своего дворца; ее поддерживала рабыня, которая несла на железном подносе горящие угли.

Посреди террасы стояло небольшое ложе из слоновой кости, покрытое рысьими шкурами, с подушками из перьев попугая – вещей птицы, посвященной богам; по углам были расставлены высокие курильницы, наполненные нардом, ладаном, киннамоном и миррой. Рабыня зажгла благовония. Пол был посыпан голубым порошком и усеян золотыми звездами наподобие неба. Саламбо обратила взор к Полярной звезде; она медленно поклонилась на все четыре стороны и стала на колени. Потом, прижав локти к бокам, отведя руки и раскрыв ладони, она запрокинула голову под лучами луны и возвысила голос:

– О Раббет!.. Ваалет!.. Танит!..

Голос ее звучал жалобно, протяжно, точно призыв.

– Анаитис! Астарта! Дерсето! Асторет! Миллитта! Атара! Элисса! Тирата!.. Скрытыми символами, звонкими систруми, бороздами земли, вечным молчанием и вечным плодородием приветствую тебя, властительница темного моря и голубых берегов, царица всей влаги мира!

Она два-три раза качнулась всем телом, потом, вытянув руки, пала ниц в пыли.

Рабыня быстро подняла ее, – обряд требовал, чтобы кто-нибудь поднял молящегося человека: это значило, что боги вняли его мольбе, и кормилица Саламбо неуклонно исполняла этот благочестивый долг.

Торговцы из Гетулии Даритийской привезли ее еще ребенком в Карфаген; отпущенная на свободу, она не пожелала оставить своих господ, что было видно по широкому отверстию в ее проколотом правом ухе. Пестрая полосатая юбка, обтягивавшая ее бока, спускалась до щиколоток, где звенели два оловянных кольца. Плоское лицо рабыни было желтое, как и ее туника. Длинные серебряные иглы образовали ореол на затылке. В одну ноздрю была вдета коралловая серьга. Опустив глаза, рабыня стояла подле ложа прямее гермы.

Саламбо подошла к краю террасы. Она окинула взором дали, потом устремила его на спящий город, и от глубокого вздоха заколыхалась ее длинная белая симмара, без застежек и пояса, свободно ниспадавшая до полу. Ее сандалии с загнутыми носками были покрыты изумрудами, распущенные волосы подобраны в пурпуровую сетку.

Она подняла голову и, созерцая луну, зашептала, примешивая к своим словам обрывки гимнов:

– Как легко ты кружишься, поддерживаемая тончайшим эфиром! Он становится еще невесомее вокруг тебя; это ты своим движением распределяешь ветры и плодоносные росы. По мере того как ты нарастаешь или убываешь, удлиняются или суживаются глаза кошек и пятна пантер. Жены с воплем называют твое имя среди мук деторождения! Ты наполняешь раковины! Благодаря тебе бродит вино! Ты вызываешь гниение трупов! Ты творишь жемчужины в глубине морей!.. И все зародыши, о богиня, исходят из тьмы твоих влажных глубин.

Стоит тебе появиться – и по земле разливается покой, чашечки цветов закрываются, волны утихают, усталые люди ложатся, повернувшись грудью к

тебе, и мир со своими океанами и горами глядится, точно в зеркало, тебе в лицо. Ты – чистая, нежная, лучезарная, непорочная, безмятежная, всех очищающая, всем помогающая!

Серп луны поднялся по другую сторону залива над горой Горячих источников между двумя ее вершинами. Под луной светилась небольшая звездочка, окруженная бледным сиянием. Саламбо продолжала:

– Но ты и грозна, владычица! Это ты создаешь чудовища, страшные призраки, обманчивые сны. Глаза твои пожирают камни зданий, обезьяны болеют при каждом твоем обновлении.

Куда ты стремишься? Зачем постоянно меняешь свой лик? Изогнутая и тонкая, ты скользишь в пространстве, точно галера без снастей, и кажешься среди звезд пастухом, стерегущим стадо. Сияющая и круглая, ты катишься по вершинам гор, точно колесо колесницы.

О Танит! Ведь ты меня любишь, я знаю! Я неустанно гляжу на тебя! Но нет! Ты носишься по лазури, а я остаюсь на неподвижной земле.

Таанах, возьми небал и тихо сыграй что-нибудь на серебряной струне, ибо сердце мое печально!

Рабыня взяла в руки инструмент из черного дерева, вроде арфы, но только выше и треугольной формы.

Глухие и быстрые звуки напоминали жужжание пчел и, нарастая, улетали в ночной мрак вместе с жалобной песнью волн и шелестом высоких деревьев на верху акрополя.

– Перестань! – воскликнула Саламбо.

– Что с тобой, госпожа? Дуновение ветра, облачко на небе – все тебя тревожит, волнует.

– Не знаю, – сказала Саламбо.

– Ты изнуряешь себя долгими молитвами!

– О Таанах, я хотела бы раствориться в молитве, как цветок в вине!

– Может быть, дым курений вреден тебе?

– Нет, – возразила Саламбо, – в благовониях обитает дух богов.

Рабыня заговорила об отце Саламбо. Думали, что он уехал в страны янтаря, за Мелькартовы столпы.

– Но если он не вернется, – сказала она, – тебе придется – такова его воля – избрать себе супруга среди сыновей старейшин, и печаль твоя пройдет в объятиях мужа.

– Почему? – спросила девушка.

Все мужчины, которых она видела до сих пор, внушали ей ужас своим животным смехом и грубым телом.

– Иногда, Таанах, из глубины моего существа поднимаются горячие струи, более жаркие, чем дыхание вулкана. Меня зовут какие-то голоса. Огненный шар распирает мне грудь и подступает к горлу: он душит меня, и мне кажется, что я умираю. А потом что-то сладостное пронизывает меня всю, пробегает по моему телу, меня обволакивает какая-то ласка, и я изнемогаю, точно надо мной распростерся бог. О, как бы я хотела раствориться в ночном тумане, в струях ручья, в древесном соке, покинуть свое тело, быть лишь дыханием, лучом и, скользя, вознестись к тебе, о моя мать!

Она высоко подняла руки и выпрямилась, бледная и легкая, как луна, в своей длинной одежде. Потом снова опустилась на ложе из слоновой кости, с трудом переводя дыхание. Таанах надела ей на шею янтарное ожерелье с дельфиновыми зубами, которое рассеивает страхи, и Саламбо проговорила еле слышно:

– Пойди позови Шагабарима.

Отец Саламбо не желал, чтобы она сделалась жрицей или даже знала, каково народное представление о Танит. Он берег дочь для брачного союза, который служил бы его политическим целям. Поэтому Саламбо вела во дворце одинокую жизнь; мать ее давно умерла.

Она выросла среди лишений, постов, постоянных очищений, окруженная изысканными торжественными предметами; тело ее было пропитано благовониями, душа полна молитв. Она никогда не пробовала вина, не ела мяса, не дотрагивалась до нечистого животного, не переступала порога дома, где лежал покойник.

Она не знала непристойных изображений; каждый бог принимал всевозможные обличья, одно и то же божественное начало славили по-разному. Саламбо поклонялась богине в ее лунном образе, и луна оказывала влияние на девственницу; когда она убывала, Саламбо слабела. Она томилась весь день и оживала только к вечеру. Во время одного лунного затмения она чуть не умерла.

Но ревнивая Раббет мстила за то, что девственность Саламбо не посвятили служению ей, и мучила Саламбо искушениями, тем более сильными, что они были смутные, сливались с ее верой и загорались от молитв.

Все мысли дочери Гамилькара занимала Танит. Она узнала про все ее приключения и скитания, выучила все ее имена и повторяла их, не понимая, что каждое имеет особый смысл. Чтобы проникнуть в глубину учения богини, Саламбо хотелось увидеть в тайнике храма старинную статую Танит и ее пышное покрывало, от которого зависели судьбы Карфагена. Представление о божестве не было отчетливо отделено от его изображения, и держать в руках или даже глядеть на изображение божества значило как бы овладевать частицей его могущества и до некоторой степени подчинять его себе.

Саламбо обернулась. Она узнала звон золотых колокольчиков, которыми был обшит нижний край одежды Шагабарима.

Он поднимался по лестнице; взойдя на террасу, он остановился и скрестил руки.

Глубоко сидевшие глаза его сверкали, как светильники во мраке гробницы; длинное, худое тело терялось в льняной одежде, сзади отягченной бубенчиками вперемежку с изумрудными шариками. У него было хилое тело, скошенный

череп, острый подбородок. Кожа казалась холодной на ощупь, желтое лицо с глубокими морщинами точно сжалось от страстного желания, от вечной печали.

То был верховный жрец Танит, воспитатель Саламбо.

– Говори, – сказал он. – Чего ты хочешь?

– Я надеялась. Ты мне почти обещал…

Она запиналась от волнения, потом вдруг сказала твердым голосом:

– Почему ты меня презираешь? Что я упустила в исполнении обрядов? Ты мой учитель, и ты мне сказал, что никто не умеет служить богине так, как я. Но есть в этом служении нечто, чего ты не хочешь мне открыть. Это правда, отец?

Шагабарим вспомнил приказания Гамилькара и ответил:

– Нет, мне нечего больше открывать тебе!

– Какой-то дух, – продолжала она, – преисполняет меня любовью к Танит. Я поднималась по ступеням Эшмуна, бога планет и духов, я спала под золотым масличным деревом Мелькарта, покровителя тирских колоний, мне открывались двери Ваал-Камона, бога света и плодородия, я приносила жертвы подземным Кабирам, богам лесов, ветров, рек и гор. Но все они слишком далеки, слишком высоки, слишком бесчувственны. Ты понимаешь меня? Танит же, я чувствую, причастна к моей жизни, она наполняет мою душу, и я вздрагиваю от стремления ввысь, точно это она пытается высвободиться. Мне кажется, что еще немного, и я услышу ее голос, увижу ее лицо. Меня ослепляют молнии, и потом я снова погружаюсь во мрак.

Шагабарим молчал. Она устремила на него умоляющий взгляд.

Наконец он знаком велел удалить рабыню, которая не принадлежала к ханаанскому племени. Таанах исчезла; Шагабарин, подняв руку, заговорил.

– До того как явились боги, – сказал он, – был только мрак, и в нем носилось дыхание, тяжелое и смутное, как сознание человека во сне. Потом мрак

сплотился, создав Желание и Облако, а из Желания и Облака вышла первобытная Материя. То была грязная, черная, ледяная, глубокая вода. Она заключала в себе бесчувственных чудовищ, разрозненные части будущих форм, которые изображены на стенах святилищ.

Потом Материя сгустилась. Она сделалась яйцом. Яйцо разбилось. Одна половина образовала землю, другая – небесный свод. Появились солнце, луна, ветры, тучи, под ударами грома проснулись разумные существа. Тогда в звездном пространстве распростерся Эшмун, Камон засверкал в солнечном диске, Мелькарт толкнул его за Гадес, Кабиры ушли вниз под вулканы, и Раббет, точно кормилица, наклонилась над миром, изливая свой свет, как молоко, и расстилая ночь, как плащ.

– А потом? – спросила Саламбо.

Он рассказал ей о тайне рождения мира, чтобы внушить ей более высокие помыслы, но вожделения девственницы загорелись от его последних слов, и Шагабарим, наполовину уступая ей, сказал:

– Она рождает в людях любовь и управляет ею.

– Любовь в людях! – мечтательно повторила Саламбо.

– Она – душа Карфагена, – продолжал жрец, – и хотя она разлита повсюду, но живет здесь, под священным покрывалом.

– Скажи, отец, – воскликнула Саламбо, – я увижу ее? Ты поведешь меня к ней? Я долго колебалась. Я сгораю от желания увидеть облик Танит. Сжалься! Помоги мне! Идем к ней!

Он оттолкнул ее гневным и гордым движением.

– Никогда! Разве ты не знаешь, что при виде ее люди умирают! Ваалы-гермофродиты открываются только нам, потому что мы наделены мужским умом и женской слабостью. Твое желание нечестиво. Удовлетворись знанием, которым ты владеешь!

Она упала на колени, заткнув уши пальцами в знак раскаяния, и долго рыдала, подавленная словами жреца, возмущенная им, преисполненная ужаса и чувства унижения. Шагабарим стоял перед ней неподвижно. Он глядел на нее, распростертую у его ног, испытывая странную радость при мысли, что она страдает из-за богини, которую даже он не мог до конца постигнуть. Запели птицы, подул холодный ветер, по побледневшему небу неслись облачка.

Вдруг он заметил на горизонте, за Тунисом, как бы легкий туман, стлавшийся по земле; потом в воздухе повисла большая завеса из серой пыли, и в вихрях ее показались головы дромадеров, копья, щиты. Это войско варваров шло на Карфаген.

IV. У стен Карфагена

В город примчались из окрестных селений верхом на ослах или пешком обезумевшие от страха, бледные, запыхавшиеся люди. Они бежали от надвигавшегося войска. Оно в три дня вернулось из Сикки в Карфаген, чтобы все уничтожить.

Карфагеняне закрыли городские ворота. Варвары уже подступали, но остановились посредине перешейка, на берегу озера. Сначала они не проявили никаких признаков враждебности. Иные приблизились с пальмовыми ветвями в руках. Их отогнали стрелами – до того был велик страх перед наемниками.

Утром и под вечер вдоль стен бродили пришельцы. Особенно обращал на себя внимание маленький человек, старательно кутавшийся в плащ и скрывавший лицо под надвинутым забралом. Он часами пристально разглядывал акведук, очевидно, желая ввести карфагенян в заблуждение относительно своих истинных намерений. Его сопровождал другой человек, великан с непокрытой головой.

Но Карфаген был хорошо защищен во всю ширину перешейка – сначала рвом, затем валом, поросшим травой, наконец, стеной высотою в тридцать локтей, из тесаных камней, в два этажа. В стене были устроены помещения для трехсот слонов и склады для их попон, пут и корма. Затем шли конюшни для четырех тысяч лошадей с запасами ячменя и упряжи, а также казармы для двадцати

тысяч воинов с оружием и боевыми припасами. Над вторым этажом возвышались башни с бойницами; снаружи башни были защищены висевшими на крючьях бронзовыми щитами.

Эта первая линия стен служила непосредственным прикрытием для квартала Малки, где жили моряки и красильщики. Издали видны были шесты, на которых сушились пурпуровые ткани, а на последних террасах – глиняные печи для варки красильных растворов.

Сзади расположился амфитеатром город с высокими домами кубической формы. Дома были выстроены из камня, досок, морских валунов, камыша, раковин и глины. Рощи храмов казались озерами зелени на этой горе из разноцветных глыб. Город разделен был площадями на неравные участки. Бесчисленные узкие улочки, скрещиваясь, разрезали гору сверху донизу. Виднелись ограды трех старых кварталов, примыкавшие одна к другой; они возвышались в виде огромных рифов или развалин, наполовину покрытых цветами, почерневших, исполосованных нечистотами; улицы проходили через зиявшие в них проломы, как реки под мостами.

Холм акрополя, в центре Бирсы, исчезал в хаосе общественных зданий. Там были храмы с витыми колоннами, с бронзовыми капителями и металлическими цепями, каменные конусы сухой кладки с лазурными полосами, медные купола, мраморные архитравы, вавилонские контрфорсы, обелиски, стоявшие на своей верхушке, как опрокинутые факелы. Перистили достигали фронтонов; между колоннадами извивались волюты, кирпичные переборки поддерживались гранитными стенами; все это, наполовину скрытое, громоздилось одно над другим причудливо и непостижимо. Чувствовалось чередование веков и как бы память о далеких отчизнах.

Позади акрополя, среди полей с красной почвой, тянулась прямой линией от берега к катакомбам маппальская дорога, окаймленная могилами. Дальше шли просторные дома, окруженные садами, и этот третий квартал, вернее, новый город Мегара простирался вплоть до скалистого берега, где стоял гигантский маяк, который зажигали каждую ночь.

Таким представился Карфаген воинам, занявшим равнину.

Они узнавали издали рынки, перекрестки и спорили о местонахождении храмов. Храм Камона, против Сисситов, выделялся своими золотыми черепицами; на крыше храма Мелькарта, слева от холма Эшмуна, виднелись ветви кораллов. За ним стоял храм Танит, и среди пальм круглился его медный купол; черный храм Молоха высился возле водоемов со стороны маяка. На верху фронтонов, на стенах, на углах площадей – всюду ютились божества с уродливыми головами, гигантских размеров или приземистые, с огромными животами или чрезмерно плоские, с раскрытой пастью, с распростертыми руками; они держали вилы, цепи или копья. В конце улиц сверкала синева моря, отчего они казались еще более крутыми. С утра до вечера их наполняла суетливая толпа. У входа в бани кричали, звеня колокольчиками, мальчишки; в лавках, где продавались горячие напитки, стоял густой пар; воздух оглашался звоном наковален; на террасах пели белые петухи, посвященные Солнцу; в храмах раздавался рев закалываемых быков; рабы бегали с корзинами на головах, а под портиками проходили жрецы, босые, в темных плащах и остроконечных шапках.

Зрелище Карфагена раздражало варваров. Они восхищались городом и в то же время ненавидели его; им хотелось и разрушить Карфаген и жить в нем. А что скрывалось в военной гавани, защищенной тройной стеной? Там, дальше, за городом, в глубине Мегары, возвышался над акрополем дворец Гамилькара.

Глаза Мато ежеминутно устремлялись туда. Он взбирался на масличные деревья и нагибался, прикладывая руку к глазам. В садах никого не было, красная дверь с черным крестом оставалась закрытой.

Более двадцати раз обошел Мато укрепления, выискивая брешь, через которую можно было бы проникнуть в город. Однажды ночью он бросился в залив и в течение трех часов плыл без остановки. Приплыв к подножию Маппал, он хотел вскарабкаться на утес, но изранил до крови колени, сломал ногти, вновь кинулся в волны и вернулся обратно.

Он приходил в бешенство от своего бессилия и чувствовал ревность к Карфагену, скрывающему Саламбо, как будто это был человек, владевший ею. Прежний упадок сил сменился безумной, неустанной жаждой деятельности. С разгоревшимся лицом, с воспаленными глазами, что-то глухо бормоча, он быстро шагал по полю или же, сидя на берегу, чистил песком свой большой меч. Он метал стрелы в пролетавших коршунов. Ярость свою он изливал в проклятиях.

– Дай волю своему гневу, как разгоряченному коню, – сказал Спендий. – Кричи, проклинай, безумствуй и убивай. Горе утоляется кровью, и так как ты не можешь насытить свою любовь, насыть свою ненависть, она тебя ободрит!

Мато вновь принял начальство над своими ратниками, мучил их воинскими упражнениями. Его почитали за отвагу и в особенности за силу. К тому же он внушал какой-то мистический страх; думали, что он говорит по ночам с призраками. Другие начальники воодушевились его примером. Вскоре воинская подчиненность упрочилась. Карфагеняне слышали из своих домов звуки букцин, которыми сопровождались воинские упражнения. Наконец варвары приблизились.

Чтобы раздавить врагов на перешейке, следовало оцепить их одновременно двум армиям, одной – сзади, высадившись в глубине Утического залива, другой – у подножия горы Горячих источников. Но что можно было предпринять с одним Священным легионом, в котором числилось не более шести тысяч человек? Если бы варвары направились на восток, они соединились бы с кочевниками и отрезали киренскую дорогу и сообщение с пустыней. Если бы они отступили к западу, взбунтовались бы нумидийцы. Наконец, нуждаясь в съестных припасах, они рано или поздно опустошили бы окрестности, как саранча. Богачи дрожали за свои замки, виноградники, посевы.

Ганнон предложил принять жестокие и невыполнимые меры: назначить большое денежное вознаграждение за каждую голову варвара или же поджечь лагерь наемников при помощи кораблей и машин. Его соратник Гискон, напротив, требовал уплатить им все, что следовало. Старейшины ненавидели Гискона за его славу: они боялись, как бы случай не навязал им нового властителя; страшась монархии, они старались ослабить все, что от нее оставалось или могло ее восстановить.

За укреплениями Карфагена жили люди другой расы и неведомого происхождения, которые охотились на дикобразов и питались моллюсками и змеями. Они ловили в пещерах живых гиен и по вечерам ради забавы гоняли их по пескам Мегары между могильными памятниками. Их хижины из ила и морских трав лепились по скалам, как гнезда ласточек. У них не было ни правителей, ни богов; они жили скопом, голые, слабые и вместе с тем свирепые, испокон веков ненавистные народу за свою нечистую пищу. Часовые заметили однажды, что все они исчезли.

Наконец члены Великого совета приняли решение. Они явились в лагерь наемников, как соседи, без ожерелий и поясов, в открытых сандалиях. Они шли спокойным шагом, кланяясь начальникам, останавливаясь, чтобы поговорить с воинами, и заявляли, что теперь с раздорами покончено и все требования наемников будут удовлетворены.

Многие из них впервые видели лагерь вблизи. Вместо суеты, которой они ожидали, в лагере царили порядок и грозное молчание. Земляная насыпь укрывала войско как высокая стена, неприступная для катапульт. Улицы внутри лагеря были политы свежей водой; в отверстиях палаток горели среди мрака чьи-то темные глаза. Связки пик и развешенное оружие ослепляли своим блеском, как зеркала. Пришедшие говорили между собой вполголоса. Они боялись задеть и опрокинуть что-нибудь своими длинными одеждами.

Воины стали требовать съестных припасов, обязуясь уплатить за них из тех денег, что им были должны.

Им послали быков, баранов, цесарок, сушеные плоды, волчьи бобы и копченую скумбрию, ту превосходную скумбрию, которую Карфаген отправлял во все гавани. Однако воины глядели с пренебрежением на великолепный скот и нарочно хулили соблазнявшие их припасы; они предлагали за барана стоимость голубя, а за трех коз – цену одного граната. Пожиратели нечистой пищи выступали в качестве оценщиков и объявляли, что их обманывают. Тогда наемники обнажали мечи, угрожая резней.

Посланцы Великого совета записали, за сколько лет службы следовало заплатить каждому солдату. Но никак нельзя было установить, сколько взято было на службу наемников; старейшины пришли в ужас, когда выяснилось, какую огромную сумму они должны уплатить. Пришлось бы продать запасы сильфия и обложить податью торговые города. А тем временем наемники потеряли бы терпение: Тунис уже перешел на их сторону. Богачи, оглушенные неистовством Ганнона и попреками его соратника, посоветовали горожанам отправиться к знакомым им варварам, чтобы вновь завоевать их расположение дружескими увещаниями. Такое доверие должно было успокоить наемников.

Купцы, писцы, рабочие из арсенала целыми семьями пришли к варварам.

Наемники впускали к себе всех карфагенян, но только через один вход, и такой узкий, что в нем едва могли поместиться рядом четыре человека. Спендий ждал у ограды и подвергал всех внимательному обыску. Мато, стоя против него, рассматривал пришедших, стремясь найти среди них кого-нибудь из приближенных Саламбо.

Лагерь походил на город – столько там было людей и такое там царило оживление. Две разные толпы смешивались в нем, отнюдь не сливаясь; одна была в полотняных или шерстяных одеждах, в войлочных шапках, похожих на еловые шишки, а другая – в латах и шлемах. Среди слуг и уличных торговцев бродили женщины всех племен, смуглые, как спелые финики, зеленоватые, как маслины, желтые, как апельсины; это были женщины, проданные моряками, взятые из притонов, украденные у караванов, захваченные при разгроме городов; их изнуряли любовью, пока они были молоды, а потом, когда они старели, нещадно избивали. При отступлениях они умирали на дорогах среди поклажи вместе с брошенными вьючными животными. Жены кочевников в прямых одеждах из рыжей верблюжьей шерсти покачивались на каблуках; певицы из Киренаики в прозрачных фиолетовых одеждах, с насурмленными бровями, пели, сидя с поджатыми ногами на циновках; старые негритянки с отвисшими грудями собирали помет животных и сушили его на солнце, чтобы развести огонь; у сиракузянок в волосах были золотые бляхи; женщины лузитанского племени носили ожерелья из раковин; галльские женщины кутали в волчьи шкуры свою белую грудь; крепыши-мальчики, покрытые паразитами, голые, необрезанные, норовили ударить прохожего головой в живот или же, подойдя сзади, кусали ему руки, как тигрята.

Карфагеняне ходили по лагерю, удивляясь обилию и разнообразию всего, что они видели. Более робкие были печальны, другие скрывали свою тревогу.

Солдаты, пошучивая, хлопали их по плечу. Заметив кого-нибудь из видных карфагенян, они приглашали его развлечься. Играя в диск, они старались отдавить ноги противнику, а в кулачном бою тотчас же сворачивали ему челюсть. Пращники пугали карфагенян своими пращами, заклинатели – своими змеями, наездники – своими лошадьми. Мирные карфагеняне сносили обиды, понуря голову, и старались улыбаться. Некоторые, чтобы выказать храбрость, давали понять знаками, что хотят быть воинами. Им предлагали рубить дрова и чистить мулов. Их заковывали в латы и катали, как бочки, по улицам лагеря. Потом, когда они собирались уходить, наемники, кривляясь, делали вид, что в отчаянии рвут на себе волосы.

Многие из них по глупости или в силу предрассудков наивно считали всех карфагенян очень богатыми и шли за ними следом, выпрашивая подачку. Они зарились на все, что им казалось красивым: на кольца, пояса, сандалии, бахрому на платье, и когда ограбленный карфагенянин восклицал: «У меня больше ничего нет! Что тебе еще нужно?» – они отвечали: «Твою жену!» Другие говорили: «Твою жизнь!»

Военные счета были сданы начальникам, прочитаны воинам и окончательно утверждены. Тогда наемники потребовали палаток; им дали палатки. Греческие полемархи попросили красивые доспехи, которые изготовлялись в Карфагене. Великий совет постановил выдать им определенную сумму для приобретения доспехов. Затем наездники объявили, что Республика по справедливости должна заплатить им за потерю коней. Один утверждал, что у него пало три коня при какой-то осаде, другой – будто потерял пять коней во время такого-то похода, а у третьего, по его словам, погибло в пропастях четырнадцать коней. Им предложили гекатомпильских жеребцов; они предпочли деньги.

Потом они потребовали, чтобы им заплатили серебром (серебряной монетой, а не кожаными деньгами) за весь хлеб, не выданный им, и по той высокой цене, по которой он продавался во время войны, – другими словами, они требовали за меру муки в четыреста раз больше, чем платили сами за мешок пшеницы. Эта несправедливость всех возмутила; пришлось, однако, уступить.

Тогда представители воинства и посланцы Великого совета примирились, призывая в свидетели своих клятв духа-хранителя Карфагена и богов варварских племен. Они принесли взаимные извинения и наговорили друг другу любезностей с чисто восточной горячностью и многоречивостью. После этого солдаты потребовали в знак дружбы, чтобы были наказаны все предатели, которые вооружили их против Республики.

Карфагеняне сделали вид, что не понимают. Тогда наемники сказали прямо, что требуют головы Ганнона.

Они по нескольку раз в день выходили из лагеря и, прогуливаясь перед стенами, кричали, чтобы им бросили голову суффета; они подставляли края одежд, чтобы ее поймать.

Великий совет, вероятно, уступил бы, если б не было предъявлено еще одно условие, оскорбительнее всех прочих: они пожелали, чтобы их вождям были отданы в жены девственницы из лучших карфагенских семей. Это придумал Спендий, и многие из наемников сочли его предложение простым и приемлемым. Но дерзостное желание породниться с пунической знатью возмутило карфагенян; они решительно объявили, что больше ничего не дадут. Тогда наемники стали кричать, что их обманули и что если через три дня им не выдадут жалованья, они сами отправятся за ним в Карфаген.

Вероломство наемников, однако, не было так безгранично, как думали их враги. Гамилькар многократно брал на себя чрезмерные обязательства. Обещания его были, правда, неопределенные, но весьма торжественные. Наемники имели право ожидать, что, когда они высадятся в Карфагене, им отдадут весь город и они поделят между собою его сокровища. Когда же оказалось, что им выплатили жалованье, и то неохотно, их гордость и алчность были разочарованы.

Ведь являли же собою Дионисий, Пирр, Агафокл и военачальники Александра пример сказочных воинских удач. Идеал Геркулеса, которого хананеяне смешивали с богом солнца, манил войска. Известно было, что простые ратники становились иногда венценосцами, и слухи о крушении империй пробуждали честолюбивые мечты галлов, обитавших в дубовых лесах, эфиопов, живших среди песков. И были еще люди, всегда готовые продать свою отвагу. Воры, изгнанные соплеменниками, убийцы, скитавшиеся по дорогам, преступники, преследуемые богами за святотатство, все голодные, все отчаявшиеся старались добраться до гавани, где карфагенский вербовщик набирал войско. Обыкновенно Карфаген выполнял свои обещания. На этот раз, однако, неистовая жадность Карфагена вовлекла его в опасное предприятие. Нумидийцы, ливийцы и вся Африка собирались напасть на Карфаген. Только море оставалось свободным. Но там были римляне. И, подобно человеку, на которого со всех сторон набросились убийцы, Карфаген чувствовал вокруг себя смерть.

Пришлось обратиться к помощи Гискона; варвары согласились на его посредничество. Однажды утром опустились цепи гавани, и три плоскодонных судна, пройдя через канал Тении, вошли в озеро.

На носу первого судна стоял Гискон. За ним возвышался, точно катафалк, огромный ящик, снабженный кольцами наподобие висящих венков. Затем появилось множество переводчиков со сфинксообразными головными уборами; у каждого на груди был вытатуирован попугай. За ними следовали друзья и

рабы, все безоружные; их было столько, что они стояли плечом к плечу. Три длинных судна, едва не тонувших под тяжестью груза, подвигались вперед среди приветствий глядевшего на них войска.

Как только Гискон сошел на берег, воины побежали ему навстречу. По его приказу соорудили нечто вроде трибуны из мешков, и он объявил, что не уедет, прежде чем не заплатит всем сполна.

Раздались рукоплескания; он долго не мог произнести ни слова.

Затем он стал обвинять и Республику и варваров, говоря, что во всем виноваты несколько бунтовщиков, испугавших Карфаген своей дерзостью. Лучшим доказательством добрых намерений Карфагена служило, по его словам, то, что к ним послали именно его, всегдашнего противника суффета Ганнона. Нечего поэтому приписывать Карфагену глупое намерение раздражать храбрецов или же черную неблагодарность, нежелание признать заслуги наемников. И Гискон принялся за выплату воинам жалованья, начав с ливийцев. Но так как представленные счета были лживы, он не пользовался ими.

Воины проходили перед ним по племенам, показывая каждый на пальцах, сколько лет он служил; их поочередно метили на левой руке зеленой краской; писцы вынимали пригоршни денег из раскрытого ящика, а другие пробуравливали кинжалом отверстия на свинцовой пластинке.

Прошел человек тяжелой поступью, наподобие быка.

– Поднимись ко мне, – сказал суффет, подозревая обман. – Сколько лет ты служил?

– Двенадцать, – ответил ливиец.

Гискон просунул ему пальцы под челюсть, где ремень от каски натирал всегда две мозоли; их называли рогами, – иметь рога значило быть ветераном.

– Вор! – воскликнул суффет. – Я, наверное, найду у тебя на плечах то, чего нет на лице.

Разорвав его тунику, он обнажил спину, покрытую кровоточивой коростой: это был землепашец из Гиппо-Зарита. Поднялся шум; ему отрубили голову.

Наступила ночь. Спендий пошел к ливийцам, разбудил их и сказал:

– Когда лигуры, греки, балеары, так же как и италийцы, получат свое жалованье, они вернутся домой. Вы же останетесь в Африке, рассеянные среди своих племен и совершенно беззащитные. Тогда-то Карфаген и начнет вам мстить! Берегитесь обратного пути! Неужели вы верите их словам? Оба суффета действуют согласно! Гискон вас обманывает! Вспомните про Остров Костей, про Ксантиппа, которого они отправили обратно в Спарту на негодном судне!

– Что же нам делать? – спросили они.

– Подумайте, – сказал Спендий.

Следующие два дня прошли в уплате жалованья солдатам из Магдалы, Лептиса, Гекатомпиля. Спендий стал часто заходить к галлам.

– Теперь расплачиваются с ливийцами, – говорил он им, – а потом заплатят грекам, балеарам, азиатам и всем другим! Вас же немного, и вы ничего не получите! Вы не увидите больше родины! Вам не дадут кораблей! Они вас убьют, чтобы не тратиться на вашу еду.

Галлы отправились к суффету. Автарит – тот, которого Гискон ранил у Гамилькара, – стал предлагать ему вопросы. Рабы вытолкали его, но, уходя, он поклялся отомстить.

Требований и жалоб становилось все больше и больше. Наиболее упрямые проникали в палатку суффета; чтобы разжалобить Гискона, они хватали его за руки, заставляли щупать свои беззубые рты, худые руки и рубцы старых ран. Те, кому еще не уплатили, возмущались, а те, кто получил жалованье, требовали еще денег за лошадей. Бродяги, изгнанники, захватив оружие воинов, утверждали, что про них забыли. Каждую минуту вваливались новые люди, палатки трещали, падали; сдавленные между укреплениями лагеря, солдаты с криками подвигались от входов к центру. Когда шум становился нестерпимым, Гискон опирался локтем на свой скипетр из слоновой кости и, глядя на море, стоял неподвижно, запустив пальцы в бороду.

Мато часто отходил в сторону и говорил со Спендием: потом снова глядел в лицо суффету, и Гискон непрерывно чувствовал направленные на него глаза, точно две пылающие стрелы. Они осыпали друг друга ругательствами через головы толпы, не слыша, однако, произносимых слов.

Тем временем выплата продолжалась, и суффет умело справлялся со всеми препятствиями.

Греки придиралось к нему из-за различия монет. Он представил им такие убедительные разъяснения, что они удалились, не выражая недовольства. Негры требовали, чтобы им дали белые раковины, которые употреблялись для торговых сделок внутри Африки. Гискон предложил послать за ними в Карфаген. Тогда они, как и все остальные, согласились принять деньги.

Балеарам обещали нечто лучшее – женщин. Суффет ответил, что для них ожидается целый караван девственниц, но путь далек, и нужно ждать еще полгода. Он сказал, что когда женщины достаточно располнеют, их натрут благовонными маслами и отправят на кораблях в балеарские гавани.

Вдруг Зарксас, вновь окрепший, статный, вскочил, как фокусник, на плечи друзей.

– Ты что ж, приберег их для трупов? – крикнул он, показывая на Камонские ворота в Карфагене.

В лучах заходящего солнца сверкали медные дощечки, украшавшие сверху донизу ворота. Варварам казалось, что они видят на них следы крови. Каждый раз, как Гискон собирался говорить, они поднимали крик. Наконец он спустился медленной поступью с трибуны и заперся у себя в палатке.

Когда он вышел оттуда на заре, его переводчики, спавшие на воздухе, не шевельнулись; они лежали на спине с остановившимся взглядом, высунув языки, и лица у них посинели. Беловатая слизь текла у них из носу, тела окоченели, точно замерзли за ночь. У каждого виднелся на шее тонкий камышовый шнурок.

Мятеж стал разрастаться. Убийство балеаров, о котором напомнил Зарксас, укрепило подозрения, возбуждаемые Спендием. Солдаты уверили себя, что

Республика, как всегда, хочет обмануть их. Пора с этим покончить. Можно обойтись без переводчиков! Зарксас, с повязкой на голове, пел военные песни; Автарит потрясал большим мечом; Спендий одному что-то шептал на ухо, другому доставал кинжал. Более сильные старались сами добыть себе жалованье, менее решительные просили продолжать раздачу. Никто не снимал оружия; возмущение, которое вызывал у всех Гискон, вылилось в бешеную злобу.

Некоторые наемники, вскарабкавшись на трибуну, стали рядом с ним; пока они выкрикивали ругательства, соратники терпеливо слушали; если же они пытались заступиться за суффета, их немедленно побивали камнями или сносили им головы ударом сабли. Груда мешков была краснее жертвенника.

После еды, выпив вина, они приходили в неистовство. В карфагенских войсках вино было запрещено под страхом смертной казни, и они поднимали чаши в сторону Карфагена, высмеивая воинское подчинение. Потом они возвращались к рабам, хранившим казну, и возобновляли резню. Слово «Бей!», звучавшее на разных языках, было всем понятно.

Гискон знал, что родина отступилась от него, но не хотел опозорить ее. Когда воины напомнили ему, что им обещаны корабли, он поклялся Молохом, что сам, на собственные средства, доставит их; сорвав с шеи ожерелье из синих камней, он бросил его в толпу как залог. Тогда африканцы потребовали, чтобы им выдали хлеба, согласно обещаниям Великого совета. Гискон разложил счета Сисситов, написанные фиолетовой краской на овечьих шкурах. Он прочел список всего ввезенного в Карфаген, месяц за месяцем и день за днем.

Вдруг он остановился, широко раскрыв глаза, точно прочел среди цифр свой смертный приговор.

Он увидел, что старейшины жульнически снизили все цифры; хлеб, проданный в самую тяжелую пору войны, был помечен по такой низкой цене, что только слепые могли поверить приведенным цифрам.

– Говори громче! – кричали ему. – Он придумывает, как лучше солгать, негодяй! Не верьте ему!

Гискон колебался, потом продолжал чтение.

Воины, не подозревая, что их обманывают, принимали на веру счета Сисситов. Изобилие земных благ в Карфагене вызвало у них бешеную зависть. Они разбили ящик из сикоморового дерева, но он оказался на три четверти пуст. На их глазах оттуда вынимали такие суммы, что они считали ящик неисчерпаемым и решили, что Гискон зарыл деньги у себя в палатке. Они взобрались на груды мешков. Мато шел во главе их. На крики «Денег, денег!» Гискон наконец ответил:

– Пусть вам даст деньги ваш предводитель!

Он безмолвно глядел на них своими большими желтыми глазами, и длинное лицо его было белее бороды. Стрела, задержанная перьями, торчала у него за ухом, воткнувшись в широкое золотое кольцо; струйка крови стекала с его тиары на плечо.

По знаку Мато все двинулись вперед. Гискон распростер руки, Спендий стянул ему кисти рук затяжной петлей, кто-то другой повалил его, и он исчез в беспорядочной толпе, бросившейся на мешки,

Толпа разгромила его палатку; там оказались только необходимые предметы обихода; после более тщательного обыска нашли три изображения богини Танит, а также завернутый в обезьянью шкуру черный камень, упавший с луны. Гискона сопровождали по собственному желанию множество карфагенян; все это были люди, занимавшие высокие посты, принадлежавшие к военной партии.

Карфагенян вывели из палаток и бросили в яму для нечистот. Привязав их железными цепями за живот к толстым кольям, им протягивали пищу на остриях копий.

Автарит, сторожившй пленных, осыпал их ругательствами; они не понимали его языка и ничего не отвечали; галл время от времени бросал им в лицо камешки, чтобы слышать крики боли.

На другой день какое-то томление охватило войско. Гнев улегся, людей объяла тревога. Мато ощущал смутную печаль. Он как бы косвенно оскорбил Саламбо. Точно эти богачи карфагеняне были связаны с нею. Он садился ночью на край ямы и слышал в их стонах что-то, напоминавшее голос, которым полно было его сердце.

Все обвиняли ливийцев, потому что только им одним уплатили жалованье. Но вместе с оживавшей национальной рознью, наряду с враждой к отдельным лицам укреплялось сознание, что опасно предаваться таким чувствам. Наемников ожидало страшное возмездие за то, что они совершили, нужно было предотвратить месть Карфагена. Происходили бесконечные совещания, произносились длинные речи. Все говорили, не слушая друг друга, а Спендий, обыкновенно словоохотливый, только качал головой в ответ на все предложения.

Однажды вечером он как бы невзначай спросил Мато, нет ли источников в городе.

– Ни одного! – ответил Мато.

На следующий день Спендий увлек его на берег озера.

– Господин! – сказал бывший раб. – Если сердце твое отважно, я проведу тебя в Карфаген.

– Каким образом? – задыхаясь, спросил Мато.

– Поклянись выполнять все мои распоряжения и следовать за мной, как тень.

Мато, подняв руку к светилу Хабар, воскликнул:

– Клянусь тебе именем Танит!

Спендий продолжал:

– Завтра после заката солнца жди меня у акведука, между девятой и десятой аркой. Возьми с собой железный лом, каску без перьев и кожаные сандалии.

Водопровод, о котором он говорил, наискось пересекал перешеек. Это было замечательное сооружение, впоследствии увеличенное римлянами. Несмотря на свое презрение к другим народам, Карфаген с присущей ему неуклюжестью позаимствовал у них это новое изобретение, так же как Рим позаимствовал у Карфагена пуническую галеру. Пять этажей арок тяжеловесной архитектуры, с

контрфорсами внизу и львиными головами наверху, доходили до западной части акрополя, где они спускались под город, выливая почти целую реку в мегарские цистерны.

В условленный час Спендий встретился там с Мато. Он привязал нечто вроде багра к концу веревки и завертел им, как пращой; железное орудие зацепилось за стену, и они стали друг за другом карабкаться по веревке.

Когда они поднялись на высоту первого этажа, крюк, который они бросали вверх, несколько раз падал обратно. Чтобы найти какую-нибудь расщелину, приходилось идти по краю выступа; но он становился все ?же по мере того, как они поднимались. Потом веревка стала ослабевать и раз чуть не порвалась.

Наконец они добрались до верхней площадки. Спендий время от времени наклонялся и щупал рукой камни.

– Здесь, – сказал он. – Начнем!

Налегая на лом, захваченный Мато, они подняли одну из плит.

Вдали они увидели всадников, мчавшихся на невзнузданных конях. Золотые запястья прыгали на фоне широких плащей. Впереди скакал человек в головном уборе со страусовыми перьями; он держал по копью в каждой руке.

– Нар Гавас! – воскликнул Мато.

– Ну так что же! – возразил Спендий и вскочил в отверстие, образовавшееся под плитой.

Мато попытался, по его приказу, поднять одну из каменных глыб. Но ему не хватало места, чтобы работать ломом.

– Мы вернемся сюда, – сказал Спендий. – Иди первый.

Они вступили в водопровод.

Сначала вода доходила им до живота, но вскоре дно ушло у них из-под ног; пришлось пуститься вплавь, беспрестанно стукаясь о стенки узкого канала. Вода почти достигала верхней плиты; они расцарапали себе лица. Потом их увлек поток. Тяжелый могильный воздух теснил им грудь; прикрывая голову руками, сжимая колени, вытягиваясь, насколько было возможно, они неслись во мраке, как стрелы, задыхаясь, храпя, еле живые. Вдруг все почернело перед ними, течение стало сильнее. Они ушли под воду.

Поднявшись на поверхность, они пролежали несколько мгновений на спине, с наслаждением вдыхая воздух. Арки следовали одна за другой между широких стен, разделявших водоемы. Все водоемы были полны, вода текла сплошным потоком во всю длину цистерн. Из отверстий в куполообразном потолке струилось бледное сияние и круглыми бликами ложилось на поверхность воды; мрак, сгущаясь у стен, отодвигал их бесконечно далеко. Малейший звук будил громкое эхо.

Спендий и Мато снова пустились вплавь и проплыли под арками еще несколько бассейнов. Два ряда меньшей величины водоемов шли параллельно с каждой стороны. Пловцы сбились с дороги, кружили, возвращались обратно; наконец они почувствовали упор под ногами – то был мощеный пол галереи, тянувшейся вдоль водоемов.

Продвигаясь с величайшей осторожностью, они стали ощупывать стену, чтобы найти выход. Но их ноги скользили; они падали в глубокие бассейны, поднимались и снова падали в изнеможении. Их тела точно растаяли в воде во время плавания. Чувствуя близость смерти, они закрыли глаза.

Спендий ударился рукой о решетку. Вместе с Мато он стал ее расшатывать, и решетка подалась. Они очутились на ступеньках лестницы. Сверху ее замыкала бронзовая дверь. Они отодвинули острием кинжала засов, открывавшийся снаружи, и вдруг их окутал свежий воздух.

Ночь была объята молчанием, небо казалось неизмеримо высоким. Над длинными стенами высились верхушки деревьев. Весь город спал. Огни передовых постов сверкали, как блуждающие звезды.

Спендий провел три года в эргастуле и плохо знал расположение городских кварталов. Мато полагал, что путь к дворцу Гамилькара должен идти налево,

через Маппалы.

– Нет, – сказал Спендий, – проведи меня в храм Танит.

Мато хотел что-то возразить.

– Помни! – молвил бывший раб и указал ему на сверкающую планету Хабар.

Мато безмолвно направился к акрополю.

Они ползли вдоль кактусовых изгородей, окаймлявших дорожки. Вода стекала с их тел на песок. Влажные сандалии скользили бесшумно. Спендий, у которого глаза сверкали, как факелы, осматривал на каждом шагу кустарники. Он шел за Мато, положив руки на два кинжала, которые держал под мышками на кожаных ремнях.

V. Танит

Выйдя из садов, Мато и Спендий очутились перед оградой Мегары; они нашли пролом в толстой стене и прошли в него.

Перед ними был отлогий склон холма, нечто вроде широкой ложбины. Место здесь было открытое.

– Выслушай меня, – сказал Спендий, – и прежде всего ничего не бойся! Я исполню свое обещание.

Он умолк и задумался, как бы подыскивая слова.

– Помнишь, однажды в час восхода солнца я показал тебе Карфаген с террасы Саламбо? Мы были тогда сильные, но ты не хотел меня слушать!

И добавил торжественно:

– Господин! В святилище Танит есть таинственное покрывало, упавшее с неба и покрывающее богиню.

– Я знаю, – сказал Мато.

Спендий продолжал:

– Само это покрывало священно, ибо оно – часть богини. Боги обитают там, где находится их подобие. Карфаген могуществен только потому, что владеет этим покрывалом.

И, нагнувшись к Мато, сказал ему на ухо:

– Я привел тебя сюда для того, чтобы ты похитил покрывало.

Мато в ужасе отпрянул.

– Уходи! Поищи кого-нибудь другого! Я не желаю помогать тебе в этом гнусном преступлении.

– Танит – твой враг, – возразил Спендий. – Она тебя преследует, и ты умираешь от ее гнева. Ты отомстишь ей. Она будет тебе повиноваться. Ты станешь почти бессмертным, непобедимым.

Мато опустил голову; Спендий продолжал:

– Мы потерпим поражение, войско погибнет. Нам нечего надеяться на бегство, на помощь или на прощение! Какого наказания со стороны богов страшишься ты? Ведь у тебя в руках будет вся их сила! Неужели ты предпочитаешь, проиграв битву, погибнуть, как жалкий раб, где-нибудь под кустом или под насмешливые крики черни, в пламени костра? Господин мой! Наступит день, когда ты войдешь в Карфаген, окруженный жрецами, которые будут целовать твои сандалии, и если покрывало Танит все еще будет тяготить тебя, ты снова водворишь его в храм. Следуй за мной и возьми его!

Страшный соблазн терзал Мато. Ему хотелось, не совершая святотатства, захватить покрывало. «Нельзя ли завладеть чарами покрывала, не похищая

его?» – думал он и, не решаясь проникнуть в глубь своих мыслей, медлил на краю пугавшей его опасности.

– Идем! – сказал он, и они молча, быстрым шагом продолжали путь.

Дорога опять пошла вверх; здесь дома стояли теснее. Путники кружили во мраке по узким улицам. Рваные циновки, закрывавшие входы, ударялись о стены. На одной из площадей перед охапками нарезанной травы медленно жевали жвачку верблюды. Потом Мато и Спендий прошли по увитой зеленью галерее. Стая собак громко залаяла. Вдруг стены домов как бы расступились, и путники увидели перед собой западную часть акрополя. У подножия Бирсы тянулась длинная черная громада: то был храм Танит – совокупность строений, садов, дворов, палисадников, обнесенных низкой каменной стеной сухой кладки. Спендий и Мато перелезли через нее.

В этой первой ограде была платановая роща, насаженная для предохранения от чумы и заражения воздуха. Местами раскинуты были палатки, где днем продавали мазь для уничтожения волос на теле, духи, одежду, пирожки в виде месяца, а также алебастровые изображения богини и ее храма.

Путникам нечего было бояться, ибо в те ночи, когда луна не показывалась, богослужений в храме не совершали; все же Мато замедлил шаг и остановился перед тремя ступенями из черного дерева, которые вели ко второй ограде.

– Вперед! – сказал Спендий.

Гранатовые и миндальные деревья, кипарисы и мирты, неподвижные, точно бронзовые, росли в саду вперемежку; устилавшие дорогу синие камешки шуршали под ногами; распустившиеся розы свисали над головой, образуя навес вдоль всей аллеи. Они пришли к овальному отверстию, загражденному решеткой. Мато, пугаясь тишины, сказал Спендию:

– Здесь мешают пресные воды с горькими.

– Я все это видел в Сирии, в городе Мафуге, – ответил бывший раб.

Поднявшись по лестнице из шести серебряных ступенек, они дошли до третьей ограды.

Там стоял посредине огромный кедр. Нижние ветви его исчезали под кусками тканей и ожерельями, которые повесили молящиеся. Путники прошли еще несколько шагов, и перед ними открылся фасад храма.

Два длинных портика, архитравы которых покоились на низких пилястрах, были расположены по обе стороны четырехугольной башни; кровлю башни украшало изображение лунного серпа. На углах портиков и по углам башни стояли сосуды с возженными курениями. Гранаты и колоквинты отягчали капители. На стенах лепные украшения – завитки, косоугольники – чередовались с нитями жемчуга; серебряная ограда филигранной работы расположена была большим полукругом перед бронзовой лестницей, спускавшейся вниз из переднего зала.

У входа, между двумя стелами – золотой и изумрудной – стоял каменный конус; проходя мимо него, Мато поцеловал свою правую руку.

Первая комната была очень высокая, со сводом, прорезанным бесчисленными отверстиями; подняв голову, можно было видеть звезды. Вдоль всей стены в тростниковых корзинах лежали кучей волосы и бороды – дары юношей, достигших возмужалости; в середине круглого помещения, из оболочки, украшенной скульптурными изображениями грудей, поднималась статуя женщины. Тучная бородатая богиня с полузакрытыми глазами как будто улыбалась, скрестив руки внизу, на толстом животе, отполированном поцелуями толпы.

Потом они снова очутились на свежем воздухе, в поперечном коридоре, где у двери из слоновой кости стоял маленький жертвенник. Дальше идти запрещалось – только жрецы имели право открывать дверь в храм, так как он был не местом сборищ, а жилищем божества.

– Наш замысел неосуществим! – сказал Мато. – Ты не подумал об этом! Вернемся назад!

Спендий стал осматривать стены.

Ему хотелось овладеть покрывалом не потому, что он верил в его чары (Спендий верил только прорицаниям), но он был убежден, что карфагеняне, лишившись покрывала, падут духом. Чтобы найти какой-нибудь вход, они обошли башню сзади.

В роще фисташковых деревьев виднелись небольшие здания различной формы. Кое-где стояли каменные фаллосы; большие олени спокойно бродили, толкая раздвоенными копытами упавшие сосновые шишки.

Они пошли обратно между двумя длинными, параллельными галереями. По краям открывались маленькие кельи. Их кедровые колонны были увешаны тамбуринами и кимвалами. Женщины спали, растянувшись на циновках перед кельями. Тела их, лоснившиеся от притираний, распространяли запах пряностей и погасших курений; они были покрыты татуировкой, увешаны кольцами, ожерельями, нарумянены и насурмлены так, что если бы не вздымавшаяся грудь, их можно было бы принять за лежащих на земле идолов. Лотосы окружали водоем, где плавали рыбы, подобные рыбам Саламбо. А в отдалении вдоль стены храма тянулся виноградник со стеклянными лозами, с изумрудными гроздьями винограда; лучи драгоценных камней играли между раскрашенными колоннами на лицах спящих женщин.

Мато задыхался в горячем застоявшемся воздухе. Все эти символы оплодотворения, эти благовония, сверкание драгоценных камней, дыхание спящих удручали его. Среди мистических озарений он думал о Саламбо; она сливалась для него с самой богиней, и любовь его от этого раскрывалась, подобно большим лотосам, распускающимся над глубокими водами.

Спендий высчитывал, сколько денег он заработал бы прежде, торгуя этими женщинами; быстрым взглядом определял он, проходя мимо, вес золотых ожерелий.

И с этой стороны нельзя было проникнуть в храм. Они вернулись назад. В то время как Спендий все оглядывал и обшаривал, Мато, распростершись перед дверью в храм, взывал к Танит. Он молил ее не допускать святотатства, он старался умилостивить ее ласковыми словами, точно разгневанного человека.

Спендий увидел узкое отверстие над дверью.

– Встань! – сказал он Мато и велел ему прислониться к стене.

Став одной ногой ему на руки, а другой на голову, он добрался до отдушины и исчез в ней. Потом Мато почувствовал, что ему на плечи упала веревка с узлами, та, которую Спендий обмотал вокруг своего тела, прежде чем спуститься в водопровод; ухватившись за нее обеими руками, Мато вскоре оказался около Спендия в большом зале, полном мрака.

Подобное вторжение казалось чем-то совершенно немыслимым. Меры предосторожности были недостаточны именно потому, что его считали невозможным. Страх охранял святилище вернее, чем стены.

Мато на каждом шагу ожидал, что он вот-вот умрет. В глубине мрака дрожал свет, и они приблизились к нему. То был светильник, горевший в раковине на подножии статуи в кабирском головном уборе. Алмазные диски были рассыпаны по длинной синей одежде статуи; цепи, спускавшиеся под плиты пола, держали ее за каблуки. Мато чуть не вскрикнул.

– Вот она, вот!.. – сказал он шепотом.

Спендий взял светильник, чтобы освещать дорогу.

– Нечестивец! – прошептал Мато, но все же последовал за ним.

В помещении, куда они вошли, не было ничего, кроме огромного черного изображения женщины. Ноги ее занимали всю стену доверху. Тело тянулось вдоль потолка. С ее пупка свисало на шнурке огромное яйцо; она опрокидывалась на другую стену головой вниз, до самых плит пола, которых касались ее заостренные пальцы.

Чтобы пройти дальше, они раздвинули занавеску; но в это время подул ветер и загасил светильник.

Они заблудились в этом запутанном сооружении. Вдруг они почувствовали под ногами что-то необыкновенно мягкое. Сверкали, сыпались искры; они ступали точно среди пламени. Спендий ощупал пол и догадался, что он устлан рысьими шкурами. Потом им показалось, что по их ногам скользнула толстая мокрая

веревка, холодная и липкая. Сквозь расселины в стене проникали внутрь слабые белые лучи, и они шли, руководствуясь этим неровным светом; вдруг они увидели большую черную змею, которая тут же исчезла.

– Бежим! – воскликнул Мато. – Это она! Я чувствую ее близость.

– Да нет же! – ответил Спендий. – Храм теперь пуст.

Сноп ослепительного света заставил их опустить глаза. Они увидели вокруг себя бесконечное количество животных, изнуренных, задыхавшихся, выпускавших когти и сплетавшихся в таинственном беспорядке, наводившем ужас. У змей оказались ноги, у быков – крылья; рыбы с человечьими головами пожирали плоды, цветы распускались в пасти у крокодилов, а слоны с поднятыми хоботами гордо носились по лазури неба, подобно орлам. Страшное напряжение чувствовалось во всех этих причудливых или искалеченных телах. Многие животные высовывали язык, точно собирались испустить дух. Тут были собраны все формы жизни: казалось, что зародыши ее вырвались из разбившегося сосуда и очутились здесь, в стенах этого зала.

Двенадцать шаров из синего хрусталя окаймляли залу; их поддерживали чудовища, похожие на тигров, пучеглазые, как улитки; подобрав под себя короткие лапы, чудовища смотрели в глубь зала, туда, где на колеснице из слоновой кости сияла верховная Раббет, всеоплодотворяющая, последняя в сонме измышленных божеств.

Чешуя, перья, цветы и птицы доходили ей до живота. В ушах у нее висели наподобие серег серебряные кимвалы, касавшиеся щек. Она глядела пристальным взором; сверкающий камень в форме непристойного символа, прикрепленный к ее лбу, освещал весь зал, отражаясь над дверью в зеркалах из красной меди.

Мато сделал шаг вперед; под ногами его подалась одна из плит, и вдруг все шары закружились, все чудовища зарычали; раздалась музыка, благозвучная и торжествующая, как гармония небесных сфер; в ней изливалась бурная душа Танит. Казалось, она поднимается, раскрыв объятия, огромная, во всю залу. Но тут чудовища закрыли пасти, и хрустальные шары перестали кружиться.

Мрачные переливы звуков еще слышались некоторое время и наконец затихли.

– Где же покрывало? – спросил Спендий.

Покрывала нигде не было. Как его найти? А что, если жрецы его спрятали? У Мато разрывалось сердце; ему казалось, что вера его обманута.

– Иди за мной! – прошептал Спендий.

Его озарило вдохновение. Он увлек Мато за колесницу Танит, где щель шириной в локоть рассекала стену сверху донизу.

Они проникли через нее в маленький круглый зал такой высоты, что он казался внутренностью колонны. Посредине находился большой полукруглый черный камень, похожий на тамбурин. На нем пылал огонь; позади возвышался конус из черного дерева, с головой и двумя руками.

Дальше виднелось нечто вроде облака, на нем сверкали звезды; в глубине складок вырисовывались фигуры: Эшмун с Кабирами, несколько виденных ими до того чудовищ, священные животные вавилонян, потом другие, которых они не знали. Все это расстилалось, как плащ, перед лицом идола, тянулось вверх по стене, зацеплялось углами о закрепы и казалось синим, как ночь, и в то же время желтым, как заря, пурпуровым, как солнце, нескончаемым, прозрачным, сверкающим, легким. То было покрывало богини, священный заимф; он должен был оставаться сокрытым от взоров.

Оба они побледнели.

– Возьми его! – сказал наконец Мато.

Спендий ни минуты не колебался; он оперся на идола и сдернул покрывало, покрывало упало на землю. Мато коснулся заимфа, потом просунул голову в его отверстие, закутался весь с головы до ног и раздвинул руки, чтобы лучше разглядеть покрывало.

– Идем! – сказал Спендий.

Мато стоял неподвижно, задыхаясь, и пристально глядел на плиты пола.

Вдруг он воскликнул:

– Почему бы мне не отправиться к ней? Я больше не боюсь ее красоты! Что она может мне сделать? Я теперь превыше человека. Я мог бы пройти сквозь огонь, шагать по волнам. Мощный порыв уносит меня! Саламбо! Я твой господин!

Голос у него звучал, как гром, и Спендию казалось, что Мато стал выше ростом и весь преобразился.

Послышались шаги, дверь открылась, и показался человек. То был жрец в высоком колпаке, глаза его были широко раскрыты. Прежде чем он успел сделать хоть одно движение, Спендий ринулся к нему, обхватил обеими руками и вонзил ему в тело два кинжала. Голова жреца громко стукнулась о каменные плиты.

Неподвижные, как лежавший перед ним труп, они застыли на месте, прислушиваясь: из полуоткрытой двери доносился только шум ветра.

Эта дверь вела в узкий проход. Спендий направился туда, Мато пошел за ним, и они почти тотчас же очутились в третьей ограде, между боковыми портиками, где расположены были жилища жрецов.

За кельями находился, наверное, более краткий путь к выходу. Они заторопились.

Спендий, присев на корточки у края водоема, вымыл окровавленные руки. Здесь спали женщины. Сверкал изумрудный виноград. Они пошли дальше.

Кто-то под деревьями бежал за ними; Мато, неся покрывало, чувствовал, что его тихонько дергают снизу. То был большой павиан из тех, что жили на свободе в ограде храма. Точно почуяв совершенную кражу, он цеплялся за покрывало. Они не решались отогнать его из боязни, что он поднимет крик; внезапно гнев его улегся, и, раскачиваясь, он пошел рядом с ними, свесив длинные руки. Подойдя к решетке, он одним прыжком очутился на пальме.

Выйдя из последней ограды, они направились ко дворцу Гамилькара. Спендий понял, что Мато не удержишь.

Они миновали улицу Кожевников, площадь Мутумбала, Овощной рынок и Синасинский перекресток. На повороте какой-то прохожий отскочил от них, испуганный сверканием, пронизавшим мрак.

– Спрячь заимф! – сказал Спендий.

Другие прохожие не обратили на них внимания.

Наконец они узнали дома Мегары.

Маяк, стоявший позади, на вершине утеса, освещал небо большим красным заревом; тень дворца с его нависавшими террасами падала на сады чудовищной пирамидой. Они прошли сквозь изгородь из ююбы, обрубая ветви кинжалом.

Всюду виднелись следы пиршества наемников. Ограды были снесены, канавы высохли, двери эргастула раскрыты настежь. Никого не было видно ни у кухонь, ни у кладовых. Они удивились этой тишине, лишь изредка прерываемой хриплым дыханием слонов, которые метались в путах, и треском огня на маяке, где пылал костер из ветвей алоэ.

Мато все повторял:

– Где она? Я хочу ее видеть. Проведи меня!

– Это безумие! – сказал Спендий. – Она поднимет крик, прибегут ее рабы, и, несмотря на твою силу, ты погибнешь!

Они дошли до лестницы с галерами. Мато поднял голову, и ему показалось, что он видит на самом верху мягкое лучистое сияние. Спендий хотел его удержать, но Мато побежал вверх по лестнице.

Вернувшись в места, где он впервые увидел Саламбо, Мато сразу забыл о времени, протекшем с тех пор. Вот она только что пела, переходя от стола к столу. Потом она исчезла, и с тех пор он все поднимается по этой лестнице. Небо над его головой покрыто огнями, море заполняет дали, с каждым шагом пространство вокруг него ширится, а он продолжает идти вверх с той странной легкостью, которую испытываешь во сне.

Шорох покрывала, скользившего по камням, напомнил Мато о его новом могуществе; от избытка надежд он не знал, что делать; эта нерешительность смущала его.

Время от времени он прижимался лицом к четырехугольным отверстиям запертых помещений, и ему казалось, что в некоторых он видит спящих людей.

Последний этаж, самый узкий, стоял в виде наперстка на вершине террас. Мато медленно обошел его кругом.

Молочный свет пронизывал пластинки талька, которые прикрывали небольшие отверстия в стене; симметрично расположенные, они похожи были во мраке на нити жемчуга. Мато узнал красную дверь с черным крестом. Сердце у него забилось. Ему захотелось убежать. Он толкнул дверь; она открылась.

В глубине комнаты горела висячая лампа в форме галеры. Три пучка света, исходившие из ее серебряного киля, дрожали на высокой обшивке стен, красных с черными полосами. Потолок состоял из маленьких золоченых балок, посреди которых были вставлены аметисты и топазы. По обеим сторонам длинной комнаты тянулось низкое ложе из белых ремней; над ним раскрывались в углублении стен полукруги наподобие раковин, откуда свешивались до полу женские одежды.

Ониксовый выступ окружал овальный бассейн; тонкие туфли из змеиной кожи стояли на краю бассейна рядом с алебастровым кувшином. Дальше виднелись следы влажных ног. В воздухе носились тонкие благоухания.

Мато касался ногами плит, выложенных золотом, перламутром и стеклом; несмотря на полировку пола, ему казалось, что ноги его увязают, точно он идет среди песков.

За серебряной лампой он увидел большой голубой четырехугольник, висевший на четырех шнурах, и пошел вперед, сгибаясь, раскрыв рот.

Веера из крыльев фламинго с черными коралловыми ручками валялись среди пурпуровых подушек, ящичков из кедрового дерева, черепаховых гребней и маленьких лопаточек из слоновой кости. Кольца и браслеты были нанизаны на рога антилопы; глиняные сосуды выставлены для охлаждения в расселину

стены, на камышовую плетенку. Мато несколько раз спотыкался, ибо пол шел уступами, образуя в комнате как бы ряд отдельных помещений. Серебряная балюстрада окружала в глубине ее ковер, пестревший цветами. Наконец он подошел к висячей постели, подле которой стояла скамеечка из черного дерева, служившая лестницей.

Свет замирал здесь; тень, точно большая занавесь, открывала только угол красной постели и кончик маленькой обнаженной ноги. Мато тихонько приблизил лампу.

Саламбо спала, подперев щеку одной рукой и вытянув другую. Кудри рассыпались вокруг нее в таком изобилии, что она лежала точно на черных перьях; широкая белая туника спускалась мягкими складками до ступней ног, следуя изгибам тела. Глаза девушки чуть-чуть виднелись из-под полузакрытых век. Прямые складки полога как бы окружали ее синеватым светом; дыхание, сообщаясь шнурам, словно качало ее в воздухе. Звенел длинноногий комар.

Мато недвижно стоял подле нее, держа в руке серебряную галеру; вдруг кисейный полог, защищавший ее от комаров, вспыхнул и исчез. Саламбо проснулась.

Огонь погас сам собой. Она молчала. Лампа бросала на обшивку стен колеблющиеся пятна света.

– Что это? – спросила она.

Он ответил:

– Это – покрывало богини!

– Покрывало богини! – воскликнула Саламбо.

Опираясь на сжатые кулаки, она, дрожа, наклонилась вперед.

Он продолжал:

– Я добыл его для тебя из глубин святилища! Смотри!

Заимф сверкал, весь залитый лучами.

– Помнишь? – сказал Мато. – По ночам ты являлась мне во сне, но я не понимал безмолвного приказания твоих глаз!

Она поставила ногу на скамеечку из черного дерева.

– Если бы понял, я прибежал бы. Я покинул бы войско, я не ушел бы из Карфагена. По твоему велению я спустился бы в пещеру Гадрумета, в царство теней. Прости! Точно горы давили меня, и все же что-то влекло меня вдаль! Я искал пути к тебе! Но разве я дерзнул бы без помощи богов?.. Идем! Следуй за мной, или, если не хочешь, я останусь здесь. Мне все равно. Утопи мою душу в своем дыхании! Пусть уста мои сотрутся, целуя твои руки!

– Покажи! – сказала она. – Ближе, ближе!

Занималась заря; свет винного оттенка пронизывал тальковые пластинки в стенах. Саламбо прислонилась, обессиленная, к подушкам своего ложа.

– Я тебя люблю! – воскликнул Мато.

Она прошептала:

– Дай его мне!

И они приблизились друг к другу.

Она шла к нему в своей симарре, тянувшейся за нею по полу, и ее большие глаза устремлены были на покрывало. Мато глядел на нее, ослепленный ее красотой, и, протягивая ей заимф, как бы пытался заключить ее в свои объятия. Она отстранила его. Вдруг Саламбо остановилась, и они взглянули широко раскрытыми глазами друг на друга.

Она не понимала, чего он хотел от нее, но все же почувствовала ужас. Ее тонкие брови поднялись, губы раскрылись; она вся дрожала. Наконец она ударила в одну из медных чаш, висевших в углах красной постели, и крикнула:

– На помощь! На помощь! Назад, дерзновенный! Будь проклят, осквернитель! На помощь! Таанах! Крум! Эва! Миципса! Шаул!

Испуганное лицо Спендия показалось в стене среди глиняных кувшинов, и он быстро проговорил:

– Беги! Сюда идут!

Поднялось великое смятение; сотрясая лестницы, в комнату ворвался поток людей – женщин, слуг, рабов, вооруженных палками, дубинами, ножами, кинжалами. Они точно окаменели от негодования, увидев Мато; служанки подняли вой, как на похоронах, черная кожа евнухов побелела.

Мато стоял за перилами. Завернутый в заимф, он казался звездным божеством, вокруг которого расстилалось небо. Рабы бросились к нему; Саламбо их остановила:

– Не трогайте его! На нем покрывало богини!

Она отступила в угол; потом сделала шаг к Мато и, протягивая обнаженную руку, крикнула:

– Проклятие тебе, ограбившему Танит! Гнев и месть, смертоубийство и скорбь на твою голову! Да растерзает тебя Гурзил, бог битв! Да задушит тебя Матисман, бог мертвых! И да сожжет тебя тот, другой, которого нельзя называть!

Мато испустил крик, точно раненный копьем. Она повторила несколько раз:

– Прочь отсюда! Прочь отсюда!

Толпа слуг расступилась, и Мато, опустив голову, медленно прошел среди них; у двери он остановился: бахрома заимфа зацепилась за одну из золотых звезд на плитках пола. Он дернул покрывало движением плеч и спустился по лестницам.

Спендий, прыгая с террасы на террасу, перескакивая через заборы и канавы, выбежал из садов. Он подошел к подножию маяка. Стена не доходила до этого места – так недоступен был здесь утес. Спендий приблизился к его краю, лег на

спину и соскользнул до самого низа; потом он доплыл до мыса Могил и кружным путем вдоль морской лагуны вернулся вечером в лагерь варваров.

Взошло солнце. Как удаляющийся лев, шел Мато вниз по дороге, грозно озираясь по сторонам.

Смутный гул доносился до его слуха. Он исходил из дворца и возобновлялся вдали, у акрополя. Одни говорили, что кто-то похитил сокровище Республики в храме Молоха; другие утверждали, что убит жрец; иные были уверены, что в город вошли варвары.

Мато, не зная, как выбраться из оград, шел прямо вперед. Его заметили; поднялся крик. Толпа поняла, что случилось. Ее охватил ужас, сменившийся безграничной яростью.

Люди сбегались из отдаленных мест Маппал, с высоты акрополя, из катакомб, с берегов озера. Патриции выходили из дворцов, продавцы – из своих лавок; женщины оставляли детей. Все вооружались мечами, топорами, палками, но препятствие, которое помешало Саламбо, удерживало теперь толпу. Как взять покрывало? Даже глядеть на него было преступлением, ибо оно было частью божества и прикосновение к нему грозило смертью.

В перистилях храмов жрецы ломали себе руки от отчаяния. Легионеры скакали наудачу в разные стороны; народ поднимался на крыши, на террасы, взбирался на плечи громадных статуй, на мачты кораблей. Мато продолжал идти, и с каждым его шагом усиливался общий гнев и вместе с тем ужас. Улицы пустели при его приближении, поток бегущих людей вздымался с двух сторон до верхушек стен. Перед ним мелькали глаза, как бы готовые его поглотить, оскаленные зубы, грозно поднятые кулаки, проклятия Саламбо продолжали раздаваться, подхваченные толпой.

Вдруг в воздухе просвистала длинная стрела, за ней – другая, загрохотали пущенные в Мато камни, но плохо направленные удары (все боялись попасть в заимф) проносились над его головой. Пользуясь покрывалом, как щитом, Мато простирал его направо и налево, перед собою, позади себя, и нападающие не знали, как с ним справиться. Он шел все быстрее, сворачивая в свободные улицы. В конце они были перегорожены веревками, повозками, засадами, и ему приходилось возвращаться назад. Наконец он дошел до Камонской площади, где

погибли балеары. Мато остановился и побледнел, точно увидел перед собою смерть. На этот раз он погиб. Толпа громко рукоплескала.

Он добежал до больших запертых ворот. Они были очень высокие, из сердцевины дуба, с железными гвоздями и бронзовой обшивкой. Мато налег на ворота. Толпа неистовствовала от радости, видя его бессилие. Наконец он взял сандалию, плюнул на нее и стал бить ею по неподвижным створам ворот. Весь город зарычал. Про покрывало забыли, – все ринулись, чтобы размозжить ему голову. Мато взглянул на толпу широко раскрытыми, блуждающими глазами. В висках у него стучало до головокружения; сознание было притуплено, как у пьяного. Вдруг он увидел длинную цепь; чтобы открыть ворота, нужно было ее потянуть. Он прыгнул, уцепился за нее, напрягая руки, упираясь ногами; наконец огромные створы раскрылись.

Очутившись на свободе, Мато снял с себя покрывало и поднял его высоко над головой. Разноцветная ткань, раздуваемая морским ветром, сверкала на солнце всеми своими красками, драгоценными камнями, изображениями богов. Он пронес таким образом покрывало через всю равнину до воинских палаток, а народ, собравшийся на стенах, смотрел, как исчезало вдали счастье Карфагена.

VI. Ганнон

– Я должен был похитить ее! – сказал он вечером Спендию. – Нужно было схватить ее и унести из дому. Никто бы не посмел остановить меня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/gyustav-flober/salambo-sbornik

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити